

РОМАН О ТОМАСЕ МАННЕ

# КОЛМ ТОЙБИН

# ВОЛ- ШЕБ- НИК

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

18+

# Колм Тойбин

# Волшебник

## Серия «Большой роман»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69007465](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69007465)*  
*Волшебник : роман / Колм Тойбин ; пер. с англ. М. Клеветенко:*  
*Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2023*  
*ISBN 978-5-389-22096-6*

### Аннотация

Впервые на русском – новейший роман одного из крупнейших британских прозаиков Колма Тойбина, неоднократного финалиста Букеровской премии. «Волшебник» – это литературная биография прославленного романиста Томаса Манна, автора «Будденброков» и «Волшебной горы», «Смерти в Венеции» и «Доктора Фаустуса», лауреата Нобелевской премии. Это семейная сага, охватывающая больше полувека; сюда уместились и детство в патриархальном Любеке, и юность в богемном Мюнхене, и семейное счастье, и непроницаемые тайны внутреннего мира, и Первая мировая война, и бегство от фашистской диктатуры, и Вторая мировая война, и начало войны холодной...

«„Волшебник“ – это не просто биография, а произведение искусства, эмоциональное подведение итогов века перемен, и в

центре его – человек, который пытается не сгибать спину, но  
вечно колеблется под ветрами этих перемен» (*The Times*).

# Содержание

Глава 1	16
Глава 2	44
Глава 3	73
Глава 4	112
Глава 5	142
Конец ознакомительного фрагмента.	159

# Колм Тойбин

## Волшебник

Colm Tóibín THE MAGICIAN Copyright © 2021 by Colm Tóibín All rights reserved

Перевод с английского Марины Клеветенко



Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».



© М. В. Клеветенко, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®

Изысканная проза.

*Филип Пулман*

Тойбин шокирующе близко подводит нас к тайне самого творчества.

*Майкл Кэнингем*

Как все, к чему Тойбин прикладывает свою искусную руку, «Волшебник» – крупное творческое достижение, невероятно увлекательный, тонкий,

мудрый и совершенный роман.

*Ричард Форд*

«Волшебник», являясь попыткой художественного осмысления биографии, воссоздает жизнь, думы и деяния Томаса Манна. Роман причудлив и ладно скроен, и я полагаю, это тот случай, когда одному автору удалось максимально близко передать мысли другого.

*Мелвин Брэгг*

«Волшебник» – выдающееся произведение. Уверен, сам Манн его одобрил бы.

*Джон Бэнвилл*

«Волшебник» – роман невероятно тонкий, чуткий и захватывающий. В нем писатель калибра Тойбина пытается понять, как будто бы несущественные эпизоды обыденной жизни преобразуются, превращаясь в искусство.

*Джей Парини (The New York Times Book Review)*

«Волшебник» – это не просто биография, а произведение искусства, эмоциональное подведение итогов века перемен, и в центре его – человек, который пытается не сгибать спину, но вечно колеблется под ветрами этих перемен.

*The Times*

Это невероятно амбициозная книга, одна из тех, в которых сокровенное и общественное изящно сбалансированы. Это история человека, который

почти всю взрослую жизнь провел за письменным столом или прогуливаясь с женой после обеда. Из этой упорядоченной жизни Тойбин создает эпос. Он заставляет Манна после получения в 1929 году Нобелевской премии рассуждать о том, что стиль его сочинений – «тяжеловесный, чопорный, просвещенный» – не придется по нраву входящим в силу нацистам. Отточенность его прозы, ее сдержанность, неприязнь политических дрызг – эти тихие, неприметные черты, как убедительно доказывает Тойбин, не стоит недооценивать, ибо они защищают нас от сна разума и от порождаемых им чудовищ.

*The Guardian*

Амбициозное и в то же время глубоко личное исследование жизни изгнанного из Германии писателя Томаса Манна... Содержащий тонкие наблюдения над жизнью и литературой, одновременно дающий потрясающее ощущение исторического масштаба, «Волшебник» написан лаконично и весьма иронично.

*Independent*

Эпичный и сокровенный, «Волшебник» – это невероятно удачный портрет трех поколений большого, любящего и беспокойного семейства... триумф.

*Financial Times*

«Волшебник» использует жизнь Томаса Манна, чтобы исследовать сложные взаимосвязи между личным и историческим, публичной и частной жизнью



и ускользящую природу самого творчества. Я нахожу это завораживающим.

*New Statesman, Books of the Year*

Колм Тойбин уже написал несколько поистине выдающихся романов. «Волшебник», возможно, лучший из них.

*Sunday Independent*

Отличительные черты воздушной прозы Тойбина – спокойствие, точность, сокровенность – остаются неизменными, несмотря на объем и наполненность событиями биографии Манна. В этой тихой саге Тойбин мастерски передает все богатство и сложность незаурядной личности, подтверждая статус одного из величайших современных романистов.

*i*

Великолепно... совершенный и увлекательный, умный и захватывающий роман.

*Scotsman*

Одновременно сокровенный и всеобщий... захватывающая, серьезная и превосходно написанная проза, которая с изяществом ставит вечные вопросы.

*Irish Times*

Удивительно точная прорисовка характеров и острая проницательность делают этот роман невероятно

увлекательным.

*Daily Mirror*

В этом романе, наполненном огромным творческим сочувствием, Тойбин исследует богатый внутренний мир немецкого писателя Томаса Манна.

*New York Times, 100 Notable Books of 2021*

Виртуозное воссоздание жизни и времени, в котором творил великий немецкий писатель Томас Манн, повествующее о сложных отношениях в семействе Манн и сокровенных сексуальных устремлениях писателя.

*New York Times, Best Historical Fiction of 2021*

Этот тонкий и содержательный роман повествует о жизни нобелевского лауреата Томаса Манна, автора «Смерти в Венеции» и «Волшебной горы», среди других великих современников.

*The New York Times, Critics' Top Books of 2021*

Сплетенные между собой портреты глубокого и сложного писателя и мира, который в течение его жизни меняется до неузнаваемости, должны понравиться как любителям истории, так и ценителям литературы.

*National Public Radio: Books We Love, 2021*

Хочется описывать последний роман Колма Тойбина «Волшебник» в самых возвышенных выражениях, как нечто ошеломляющее, ослепительное, выдающееся... Если вы готовы погрузиться в огромный и до мелочей

продуманный мир, вы будете наслаждаться каждой страницей.

*Vogue, Best Books to Read in 2021*

Скрупулезный и лиричный, неоднозначный, но сочувственный портрет писателя, который всю жизнь сражался с самыми сокровенными желаниями, собственным семейством и бурными временами, в которые ему довелось жить.

*Time, Best Books of Fall 2021*

«Волшебник» возвращает литературного гиганта... полифонический и трогательный роман Тойбина очеловечивает Манна. Грандиозный замысел и сокровенные чувства... Главная тема романа, как и прозы Манна, – упадок нравов и морали, семьи, стран и институтов.

*The New York Times*

Мистер Тойбин умеет писать очень лаконично, и передавать состояние тишины и покоя удастся ему не хуже, чем диалоги и сюжет. Его стиль захватывает не сразу, а прозрения воздействуют тем мощнее, чем жестче наложенные ограничения... То, что удалось мистеру Тойбину в его изысканно чувственном романе – и что редко удастся биографическим романам, – это признание того, что не все можно понять. У «Волшебника» самый возвышенный финал из всех, что встречались мне за долгое время.

*The Wall Street Journal*

Резкий и остроумный роман, доказывающий, какой приятной компанией может быть нобелевский лауреат и его семейство. «Волшебник» равновелик Манну, и виной тому не только изящная проза Тойбина, но и то, что читатель ждет не дожидается очередной остроты из уст родных или гостей Манна.

*The Washington Post*

«Волшебник», новый роман Колма Тойбина о Манне, противостоит дешевым приемам голливудских биографий, стремясь достичь того, что не удастся или что не кажется важным достичь мейнстриму. Как творит художник и может ли настоящий творец жить так, как живем мы с вами?

*Vulture*

Манн Тойбина интереснее, чем простые факты его, по общему признанию, масштабной биографии. Книга набирает мощь и разгон, когда переживания героя показываются на фоне мировых проблем, в особенности когда Тойбин заставляет Манна осмысливать их в жизни и в искусстве.

*The Minneapolis Star-Tribune*

Мощно... «Волшебник» мастерски сплетает взгляд Тойбина на личную и внутреннюю жизнь Манна с историей создания его лучших романов. Это выдающийся двойной портрет немецкой истории двадцатого века и ее великого писателя, волнующая ода литературе и музыке; с особой тонкостью Тойбин

рисует долгий и успешный брак Маннов... Выдающееся достижение.

*The Christian Science Monitor*

Вам необязательно считать себя поклонником Томаса Манна, чтобы быть захваченным описанием его жизни, которое предлагает Колм Тойбин в своем новом романе. Он хорошо понимает противоречивую натуру Манна, и самая большая удача – то, что он сумел разгадать его главную тайну.

*Seattle Times*

Сокровенный портрет Томаса Манна. Тойбин использует писательские приемы, чтобы нарисовать портрет Манна как сложной натуры со своими пороками и глубинами. В «Волшебнике» Тойбин представляет необычный взгляд на создание серьезного искусства и в процессе доказывает, каким могущественным волшебником является сам.

*Chicago Review of Books*

Ода гению двадцатого века и сам по себе подвиг литературного колдовства.

*Oprah Magazine*

Это вибрации от силы прозрений Манна и возвышенности сладкозвучной прозы Тойбина. Он превзошел себя.

*Publishing News*

Захватывающе... Тойбину удастся передать

зачарованность Волшебником, как называли Манна его дети, который мог заставить сексуальные тайны исчезнуть под насыщенной поверхностью семейной жизни и неординарным искусством... интригующе.

*Kirkus Reviews*

С помощью своей роскошной прозы, которая тихо пробуждает измученную душу, скрытую за этими литературными шедеврами, Тойбин демонстрирует непревзойденный дар, рисуя карту внутреннего мира гения.

*Booklist*

Любители литературы захотят погрузиться в это захватывающее переосмысление жизни нобелевского лауреата, немецкого писателя Томаса Манна... Члены семьи Манн ведут свою собственную борьбу – друг с другом и с миром, в котором редко чувствуют себя как дома, – и это получает самое яркое воплощение.

*AARP*

Волшебник – это волшебство! Разумеется, Тойбин – литературный тяжеловес. Есть такие писатели, которые способны воспарить над миром фактов и вступить туда, где дух и материя соединяются. Тойбин снова доказал, что он один из них.

*Fredericksburg Free-Lance Star*

Тойбин снова смешивает фактическое и воображаемое, чтобы показать богатство внутренней

жизни и подавленную сексуальность человека, чей дар не имеет себе равных и чья жизнь состоит из потребности принадлежать и страданий от невозможности удовлетворить недозволенные желания.

*LitHub*

# Глава 1

## Любек, 1891 год

Его мать ждала наверху, пока слуги принимали пальто, шарфы и шляпы. До тех пор пока гостей не провожали в гостиную, Юлия Манн не показывалась. Томас, его старший брат Генрих, сестры Лула и Карла наблюдали с лестничной площадки. Они знали: мать скоро появится. Генриху пришлось утихомирить Лулу, иначе их прогонят спать и они упустят момент. Их младший брат Виктор спал наверху.

С волосами, туго стянутыми цветным бантом, Юлия вышла из спальни. На ней было белое платье и простые черные туфли с Майорки, пошитые на заказ и напоминавшие балльные.

Хозяйка нехотя присоединялась к компании, выглядя при этом так, словно ради гостей ей пришлось оставить место, где даже в одиночестве было куда веселей, чем в праздничном Любеке.

Войдя и гостиную и оглядевшись, Юлия выбирала среди гостей одного, как правило мужчину, кого-нибудь неприятного, вроде герра Келлингхузена, немолодого, но и нестарого, или Франца Кадовиуса, который унаследовал косоглазие от матери, или судью Августа Леверкюна с усиками над тонкой губой, и до конца вечера от него не отходила.



Перед ее заграничным очарованием, ее изяществом и хрупкостью было трудно устоять.

Хозяйка расспрашивала гостя о работе, семье и планах на лето, а в ее глазах светилась доброта. Юлия всегда освещалась о сравнительном уровне комфорта, предлагаемом отелями Травемюнде, а также роскошными гостиницами Трувиля, Коллиура или каких-нибудь адриатических курортов.

Затем Юлия переходила к неудобным вопросам. Она принималась расспрашивать собеседника о какой-нибудь уважаемой даме из их окружения. Якобы личная жизнь этой дамы стала предметом спекуляций среди городских бюргеров. Речь могла идти о юной фрау Штавенхиттер, фрау Маккентхун или фройляйн Дистельманн, а то и вовсе о ком-то еще более безобидном. И когда изумленный гость отвечал, что слышал об означенной даме только хорошее и решительно не способен вообразить ничего, что выходило бы за рамки приличий, мать Томаса замечала, что, по ее мнению, Любек должен гордиться тем, что эта поистине выдающаяся женщина удостоила его своим присутствием. Эту мысль Юлия преподносила словно некое откровение – нечто настолько тайное, что об этом до поры до времени не стоило знать даже ее мужу-сенатору.

На следующий день слухи о поведении его матери и о том, кого на сей раз она избрала своим конфидентом, курсировали по городу, пока не доходили до Генриха и Томаса. В

пересказе их школьных приятелей слухи напоминали новейшую пьесу, прямиком из Гамбурга, перенесенную на местные подмостки.

По вечерам, когда сенатор отсутствовал по делам, а Томас с Генрихом, покончив с уроками скрипки и ужином, облачались в ночные сорочки, мать рассказывала им о стране, откуда она родом, – Бразилии. Такой огромной, что никто не знает, сколько людей там живет, чем они занимаются и на каких языках говорят. Стране, стократ крупнее Германии, где никогда не бывает ни зимы, ни мороза, ни даже холода, а река Амазонка в десять раз длиннее и шире Рейна. В великую реку вливаются мелкие, что несут свои воды под покровом дремучих лесов, где растут деревья такой вышины, каких не встречал ни один чужестранец. А еще там живут племена, о существовании которых никто не подозревает, ибо племена знают лес как свои пять пальцев, а завидев чужака, успевают спрятаться.

– Расскажи про звезды, – просил Генрих.

– Наш дом в Парати стоял на воде, – рассказывала Юлия. – И сам был почти что частью воды, словно лодка. А когда наступала ночь, мы смотрели на яркие, низкие звезды. Здесь, на севере, звезды высокие и далекие, а в Бразилии их можно разглядеть даже днем. Они похожи на маленькие солнца, они такие яркие и близкие, особенно если вы живете у воды. Моя мать говорила, что, отражаясь от воды, звезды сияют так ярко, что на втором этаже ночью можно читать книгу.

И ты ни за что не уснешь, пока не закроешь ставни. Когда я была маленькой девочкой, такой как вы сейчас, я верила, что весь мир похож на Бразилию. Как же я удивилась в свою первую ночь в Любеке, когда не увидела на небе звезд! Их закрывали тучи.

– Расскажи о корабле.

– Вам пора спать.

– Расскажи про сахар.

– Томми, ты же знаешь эту историю.

– Хотя бы кусочек.

– Хорошо. Чтобы приготовить все марципаны, которые делают в Любеке, используют сахар, который выращивают в Бразилии. Любек знаменит марципанами, как Бразилия – сахаром. И когда на Рождество добрые люди в Любеке и их детки едят марципаны, они и не подозревают, что едят часть Бразилии. Они едят сахар, который приплыл к ним по морям.

– А почему мы не можем делать наш собственный сахар?

– Спросите у вашего отца.

Годы спустя Томас размышлял, не стало ли началом конца семейства Манн решение отца вместо флегматичной дочери местного судовладельца, купца или банкира взять в жены Юлию да Сильва-Брунс, в жилах матери которой, по слухам, текла кровь индейцев? Не было ли это наглядным свидетельством тайной семейной страсти ко всему экзотическому, которая до поры до времени никак не проявлялась у сте-

пенных Маннов, озабоченных лишь получением прибыли?

Любекцы запомнили Юлию маленькой девочкой, явившейся в их город после смерти матери вместе с сестрой и тремя братьями. Сирот, которые не знали ни слова по-немецки, взял под опеку дядя. Столпы города, вроде фрау Овербек, известной стойкой приверженностью к реформатской церкви, поглядывали на детей с подозрением.

– Однажды я видела, как они крестились, проходя мимо Мариенкирхе, – говорила она. – Не стану ставить под сомнение важность торговли с Бразилией, однако не припомню случая, чтобы бюргер из Любека брал в жены бразильянку.

Юлия, выйдя замуж в семнадцать, родила мужу пятерых детей, которые вели себя с достоинством, приличествующим детям сенатора, однако держались с застенчивой гордостью и даже высокомерием, невиданными для Любека. По мнению сторонников фрау Овербек, подобные настроения поощрять никак не следовало.

На сенатора, который был на одиннадцать лет старше жены, местные взирали с изумлением, словно он вложил капитал в картину итальянского мастера или редкую майолику, проявив опасные наклонности, которые его предкам удавалось держать в узде.

Перед воскресной службой отец проводил тщательный осмотр детей, пока мать возилась в гардеробной, примеряя шляпки и туфли. Генрих и Томас держались с приличествующей случаю важностью, пока Лула и Карла пытались стоять

прямо и не вертеться.

После рождения Виктора Юлия перестала обращать внимание на замечания мужа. Ей нравилось наряжать девочек в цветные гольфы и банты, и она не возражала против того, чтобы мальчики носили волосы длиннее, чем принято, и не боялись проявлять смелость в суждениях.

Для церкви Юлия одевалась элегантно, как правило выбирая один цвет – серый или темно-синий, которому соответствовал цвет чулок, и позволяя себе украсить шляпку алой или желтой лентой. Ее муж славился покроем своих сюртуков, которые шил в Гамбурге, и безукоризненной опрятностью. Сенатор менял сорочки каждый день, а порой дважды в день, имел обширный гардероб и стриг усы на французский манер. Дотошностью, с которой отец вел семейное дело, он отдавал должное его столетней безупречной истории, однако роскошью своего гардероба подчеркивал, что его интересуют не только деньги и торговля и что нынешние Манны отличаются не одной лишь умеренностью и рассудительностью, но и не чужды хорошего вкуса.

К ужасу сенатора, на коротком пути до Мариенкирхе от дома Маннов на Бекергрубе Юлия радостно приветствовала знакомых по именам – к такому Любек был явно не готов, особенно по воскресеньям, и это еще сильнее убеждало фрау Овербек и ее незамужнюю дочь, что в глубине души фрау Манн остается католичкой.

– Она глупа и одевается вызывающе, как все католики, –

говорила фрау Овербек. – А эта ее лента на шляпе – верх легкомыслия.

В церкви, где собиралось все семейство, прихожане отмечали, как бледна Юлия и как эту соблазнительную бледность оттеняют тяжелые каштановые кудри и загадочные глаза, которые взирали на проповедника с плохо скрытой насмешкой, и это выражение совершенно не вязалось с серьезностью, с которой семья и друзья ее мужа относились к отправлению религиозных обрядов.

Томас видел, что отцу не по душе рассказы матери о ее детстве в Бразилии, особенно в присутствии дочерей. Однако он не возражал, когда Томас расспрашивал его о старом Любеке, о славном пути, который прошла семейная фирма, начав со скромного дела в Росток. Отцу нравилось, когда Томас, заглянув в контору по пути из школы, сидел и слушал про торговые суда, склады, банки и страховки и запоминал то, что услышал.

Даже дальние кузины постепенно пришли к выводу, что, в то время как Генрих пошел в мать – был рассеян, непослушен и вечно сидел, уткнувшись в книгу, – юный Томас, рассудительный и горящий рвением, – именно тот, кто продолжит семейное дело в новом веке.

Когда девочки подросли, дети, если отец был в городе по делам, собирались в гардеробной матери, и Юлия рассказывала им о Бразилии, о белизне одежд, что носят тамошние

жители, о том, как часто они моются, и поэтому все до единого отличаются редкой красотой, как мужчины, так и женщины, как белые, так и чернокожие.

– Бразилия совершенно не похожа на Любек, – говорила Юлия. – Там нет нужды напускать на себя серьезность. Там нет фрау Овербек с ее вечно поджатыми губами. Нет вечно скорбящих семейств вроде Эсскухенов. В Парати, если ты встретишь троих, один непременно будет что-то рассказывать, а двое других смеяться. И все будут в белом.

– Они будут смеяться над шуткой? – спросил Генрих.

– Просто смеяться. Так у них заведено.

– Над чем?

– Дорогой, я не знаю. Я же говорю, так у них заведено. Иногда по ночам я слышу этот смех. Его приносит ветер.

– А мы когда-нибудь поедем в Бразилию? – спросила Лула.

– Не думаю, что эта мысль придется по душе вашему отцу, – ответила Юлия.

– А когда станем старше? – спросил Генрих.

– Мы не можем знать, что случится, когда мы станем старше, – промолвила Юлия. – Может быть, вы будете ездить куда захотите. Куда угодно!

– Я хотел бы остаться в Любеке, – сказал Томас.

– Твой отец будет рад это услышать, – заметила Юлия.

Томас жил в мире своих грез в гораздо большей степени,

чем Генрих, мать или сестры. Даже беседы с отцом про складывались лишь частью фантастического мира, в котором он воображал себя то греческим божеством, то персонажем детской считалки, то женщиной с лицом, исполненным страстной надежды, с картины, которую отец повесил над лестницей. Порой ему было трудно отделаться от фантазий, что на самом деле он старше и сильнее Генриха, что ходит как равный в контору с отцом или что он – горничная Матильда, обязанностью которой было следить, чтобы туфельки матери всегда стояли по парам, флаконы с духами никогда не пустели, а тайные предметы материнского гардероба хранились на тайных полках, подальше от его любопытных глаз.

Томас поражал гостей, перечисляя, какие грузы придут в порт, щеголяя названиями судов и дальних гаваней, и гости прочили ему выдающуюся деловую карьеру, заставляя его вздрагивать от мысли, что, знай эти люди, каков он на самом деле, они немедленно бы от него отвернулись. Если бы они могли заглянуть к нему в голову и увидеть, сколько раз за ночь, а иногда и среди бела дня он воображал себя то ослепленной желанием женщиной с картины, то рыцарем с мечом и песней на устах! Они изумились бы, как легко ему, самозванцу, удастся их дурачить, как коварно он добился отцовского расположения и как мало ему следует доверять.

Разумеется, Генрих знал о тайной жизни младшего брата, о том, насколько далеко Томас зашел в своих мечтаниях. Брат отдавал себе отчет – и предупреждал об этом Томаса, –



что чем больше тот притворяется, тем больше вероятность того, что его тайну раскроют. Генрих, в отличие от младшего брата, никогда не таил своих пристрастий. С подросткового возраста его увлеченность Гейне и Гёте, Бурже и Мопассаном была столь же очевидна, как и его равнодушие к торговым судам и складам. Последние вызывали в нем тоску, и никакие увещевания не могли убедить его не говорить отцу, что он не желает иметь с семейным делом ничего общего.

– Я видел, как за завтраком ты изображал из себя маленького дельца, – сказал он Томасу. – Тебе удалось одурачить всех, кроме меня. Когда ты признаешься им, что притворяешься?

– Я не притворяюсь.

– Ты все это несерьезно.

Генрих так явно демонстрировал пренебрежение к главным семейным чаяниям, что отец оставил его в покое, сосредоточившись на исправлении мелких погрешностей в манерах второго сына и дочерей. Юлия пыталась увлечь Генриха музыкой, но он не желал музицировать ни на фортепиано, ни на скрипке.

Генрих совершенно отдалился бы от семьи, думал Томас, если бы не искренняя привязанность к Карле. Между ними было десять лет разницы, и отношение брата к сестре было скорее отцовским, нежели братским. С младенчества Генрих таскал Карлу по дому, а когда она стала старше, учил ее карточным играм и играл с ней в особую разновидность прятков,

которую придумал специально для них двоих.

Всех восхищала привязанность Генриха к Карле, его мягкость и предупредительность по отношению к младшей сестре. Ни друзья, ни иные заботы, ничто не могло заставить его забыть о своей любимице. Если Луле случалось приревновать брата к Карле, Генрих тут же предлагал ей присоединиться к общей игре, но вскоре Лула начинала скучать, не будучи посвященной в их приватные шутки и обыкновения.

– Генрих очень добрый, – рассуждала кузина. – Будь он таким же практичным, будущее семьи было бы обеспечено.

– Зато у нас есть Томми, – отвечала тетя Элизабет, обращившись к нему. – Томми поведет семейную фирму в двадцатый век. Разве не в этом состоит твой план?

Несмотря на легкую иронию в ее тоне, Томас улыбался во весь рот.

Считалось, что непокорность Генрих получил от матери, но, став старше, он перестал ценить материнские истории, не унаследовав ни хрупкости ее духа, ни ее природной утонченности. Странно, но, вечно рассуждая о поэзии, искусстве и путешествиях, Генрих, с его прямоотой и решительностью, подрастая, все больше напоминал истинного Манна. А встретив его в городе, тетя Элизабет неизменно замечала, как он похож на ее деда Иоганна Зигмунда Манна. Его тяжелая поступь напоминала ей старый добрый Любек и основательность, которой отличались его предки по отцовской линии. Какая жалость, что он совершенно равнодушен к тор-

говле!

Томас понимал, что, вероятно, со временем семейное дело перейдет к нему, а не к старшему брату, и ему же достанется дедовский дом. Он мог бы наполнить его книгами. Томас видел, как перестроит парадные комнаты, переместив контору в другие помещения. Он будет заказывать книги в Гамбурге, как его отец заказывает одежду, а может быть, даже во Франции, если выучит французский, или в Англии, если усовершенствует английский. Он будет жить в Любеке, как не жил никто до него, радея о делах ровно в той мере, чтобы удовлетворять иные потребности. Вероятно, он женится на француженке. Французская жена добавит в жизнь заграничного лоска.

Томас воображал, как мать посещает их дом на Менгштрассе после того, как они с женой его перестроят, как восхищается новым кабинетным роялем, картинами из Парижа, французской мебелью.

Став выше, Генрих дал понять Томасу, что его попытки вести себя как истинный Манн лишь поза, фальшь, которая стала бросаться в глаза, когда Томас начал читать больше поэзии, когда уже не мог скрывать свою увлеченность культурой и когда позволял матери аккомпанировать ему на рояле в гостиной.

Время шло, и усилия Томаса притвориться, что его интересует торговля, утрачивали убедительность. В то время как Генрих упрямо шел навстречу мечте, Томас увиливал,

но скрыть то, что в нем происходило, был не в силах.

— Почему ты перестал заглядывать к отцу в контору? — спрашивала мать. — Он уже несколько раз об этом упомянул.

— Я зайду завтра, — отвечал Томас.

Однако, идя домой из школы, он представлял тихий уголок, где сможет предаться чтению или мечтам, и решал, что заглянет в контору в другой раз.

Томас помнил, как однажды в Любеке они с матерью музицировали — он на скрипке, она на рояле — и внезапно в дверях возник Генрих. Томас продолжил играть, но почувствовал беспокойство. Несколько лет они с братом делили одну спальню, но те времена прошли.

Генрих, бледнее и старше его на четыре года, превратился в красивого юношу. И это не ускользнуло от Томаса.

Генрих, которому исполнилось восемнадцать, видел, что младший брат его разглядывает. И не мог не заметить неловкое желание, промелькнувшее во взгляде Томаса. Пьеса была медленной и несложной, одна из шубертовских ранних вещей для скрипки и фортепиано или переложение песни. Мать не сводила глаз с нот и не видела взглядов, которыми обменялись ее сыновья. Томас сомневался, что она вообще заметила Генриха. Смутившись, Томас вспыхнул и отвернулся.

Когда Генрих ушел, Томас попытался доиграть пьесу до конца, но ему пришлось остановиться, слишком часто он ошибался.

Больше ничего подобного не случилось. Генрих хотел, чтобы брат знал: он видит его насквозь. Говорить было не о чем, но воспоминание осталось: комната, свет, падающий из высокого окна, мать за роялем, его одиночество рядом с ней, нежные звуки, которые они извлекают из струн и клавиш. Обмен взглядами. И снова тишина и покой или хотя бы подобие покоя, после того как в комнату вторгся чужой.

Генрих с радостью оставил школу и устроился в книжную лавку в Дрездене. В его отсутствие Томас стал еще чаще витать в облаках. Он просто не мог заставить себя слушать учителей. В глубине души, словно дальние громовые раскаты, маячила зловещая мысль: когда придет время вести себя как взрослый, окажется, что он ни к чему не пригоден.

Вместо этого он станет воплощением упадка. Упадок будет звучать в каждом звуке, который он извлечет из скрипки, в каждом слове, которое прочтет в книге.

Томас знал, что за ним наблюдают, не только в семейном кругу, но также в школе и в церкви. Он любил слушать, как мать играет на рояле, и сопровождать ее в будуар. В то же время ему нравилось, когда его замечали на улице, его, славного отпрыска уважаемого сенатора. Впитав самомнение отца, в то же время он перенял что-то от артистической природы матери, от ее чудаковатости.

Кое-кто в Любеке придерживался мнения, что братья не только воплощают собой упадок собственного семейства, но отражают закат целого мира, севера Германии, некогда опло-

та мужественности.

Теперь многое зависело от младшего брата Виктора, который родился, когда Генриху исполнилось девятнадцать, а Томасу было почти пятнадцать.

— Поскольку оба старших выбрали поэзию, — говорила тетя Элизабет, — одна надежда, что младший предпочтет гроссбухи.

Летом, когда семья отправлялась на месяц в Травемюнде, мысли о школе и учителях, грамматике, пропорциях и ненавидимой гимнастике можно было на время забыть.

В прекрасном отеле в стиле швейцарского шале пятнадцатилетний Томас просыпался в уютной старомодной комнате от шороха грабель, которыми садовник разравнивал гравий под бледным небом Балтики.

Вместе с матерью и ее компаньонкой Идой Бухвальд он завтракал на балконе столовой или под высоким каштаном во дворе. Коротко стриженная трава уступала место более высокой прибрежной растительности и песчаным дюнам.

Его отец, казалось, испытывал удовольствие от мелких отельных неудобств. Он считал, что скатерти стирают недостаточно тщательно, бумажные салфетки выглядят вульгарно, хлеб имеет странный привкус, а металлические подставки для яиц никуда не годятся. Выслушивая его жалобы, Юлия с улыбкой говорила:

— Потерпи, скоро вернемся домой.

Когда Лула спросила мать, почему отец редко выходит на пляж, она улыбнулась:

— Ему нравится в отеле. Мы же не станем его заставлять?

Томас с сестрами, братьями, матерью и Идой отправлялись на пляж, где рассаживались на расставленных гостиничными служителями шезлонгах. Тихое бормотание двух женщин прерывалось, лишь когда на пляже появлялся кто-то новый, и они выпрямляли спины, чтобы хорошенько его рассмотреть. Удовлетворив любопытство, женщины возвращались к вялому перешептыванию, а после прогоняли Томаса в море, где поначалу, боясь холода, он шарахался от каждой легкой волны и только спустя некоторое время позволял воде себя обнять.

Долгими вечерами они с Идой часами сидели у летней эстрады, порой она читала ему под деревьями за отелем, а после шли на высокий утес, чтобы в сумерках махать платочками проходящим кораблям. Вечером Томас спускался в комнату матери, наблюдал, как она готовится к ужину на застекленной веранде в окружении семейств не только из Гамбурга, но даже из Англии и России, после чего отправлялся в кровать.

В дождливые дни Томас перебирал клавиши пианино в вестибюле отеля. Инструмент, расстроенный многочисленными вальсами, не был способен извлекать то богатство тонов и полутонов, которые легко давались кабинетному роялю дома, но обладал забавным булькающим звуком, и этого

звука Томасу будет не доставать, когда каникулы закончатся.

В то последнее лето отец после нескольких дней на побережье под предлогом срочных дел уехал в Любек, однако, вернувшись, даже в солнечные дни оставался в отеле, закутавшись в плед, словно инвалид. Он больше не сопровождал их в вылазках из отеля, а они вели себя так, словно он по-прежнему в отъезде.

И только когда однажды вечером Томас в поисках матери заглянул в соседний номер, он был вынужден обратить внимание на отца, лежавшего на кровати и глядящего в потолок, раскрыв рот.

– Бедняжка, – заметила мать, – работа изнурила его. Отдых пойдет ему на пользу.

На следующий день мать вместе с Идой как ни в чем не бывало вернулись к привычной рутине, оставив сенатора в постели. Когда Томас спросил мать, не заболел ли отец, она напомнила ему, что несколько месяцев назад сенатор перенес несложную операцию на мочевом пузыре.

– Твой отец еще не оправился, – сказала мать. – Скоро он снова почувствует вкус к морским купаниям.

Странно, думал Томас, он почти не помнил, чтобы отец когда-нибудь купался или сидел на пляже – обычно он читал газету на веранде, сложив на столике рядом с собой запас русских сигарет, или ждал жену у ее номера, когда перед обедом Юлия с мечтательным видом брела с моря.

Однажды, когда Томас возвращался с пляжа, мать по-



просила его зайти в комнату отца, почитать ему вслух, если попросит. Томас попытался возразить, что собирался послушать оркестр, но она настояла. Отец ждет тебя, сказала Юлия.

Сенатор сидел на кровати с белоснежной салфеткой, обмотанной вокруг горла, а отельный цирюльник трудился над его подбородком. Отец кивнул Томасу, велел присесть в кресло у окна. Томас перевернул раскрытую книгу, лежащую на столике корешком кверху, и принялся ее листать. Книга по вкусу Генриха, подумал он. Едва ли отец попросит из нее почитать.

Томаса завораживали медленные замысловатые пасы, с которыми цирюльник брил отца, широкие взмахи и мелкие движения опасной бритвы. Покончив с одной половиной лица, мастер отступил назад, оценивая работу, и маленькими ножничками аккуратно обрезал несколько волосков у носа и над верхней губой. Отец смотрел прямо перед собой.

Затем цирюльник занялся второй половиной лица. Закончив, он вытащил флакон одеколона, щедро опылил сморщившегося клиента и хлопнул в ладоши.

– Стыд и позор любекским цирюльникам, – промолвил он, сдергивая и складывая салфетку. – Скоро люди потянутся в Травемюнде за отличным бритьем.

Отец лежал на кровати в превосходно отглаженной полосатой пижаме. Томас заметил, как тщательно подстрижены его ногти, за исключением ногтя на маленьком пальце левой

ноги, который врос в кожу. Ему бы ножницы, и Томас постарался бы это исправить. Внезапно он осознал, насколько нелепой была эта мысль, — отец не позволит ему остричь ногти.

Книга до сих пор лежала у Томаса на коленях. Если он отложит ее, отец попросит почитать из нее или поинтересуется, что он о ней думает.

Вскоре отец закрыл глаза и, казалось, погрузился в сон, однако спустя некоторое время снова открыл их и уставился в стену. Томас гадал, стоит ли расспросить его про торговые суда, прибытия которых ждали в порту, а если отец окажется разговорчивым, про цены на пшеницу. Или упомянуть пруссаков, и тогда отец пожалуется на их невоспитанность, на грубые застольные манеры прусских чиновников, даже тех, кто из хороших семейств.

Томас поднял глаза и увидел, что отец заснул. Вскоре послышалось сопение. Томас решил, что пора вернуть книгу на прикроватный столик. Он встал и подошел к кровати. После бритья лицо отца выглядело белым и гладким.

Томас не знал, сколько еще ему так стоять. Хоть бы кто-нибудь из отельного персонала вошел с графином воды или чистым полотенцем, но всего было в достатке. Он не надеялся, что в номер зайдет мать. Юлия отправила его сюда, чтобы самой приятно провести время в саду или на пляже вместе с Идой и его сестрами или с Виктором и его няней. Если он выйдет сейчас из комнаты, мать непременно об этом узнает.

Он поклонился вокруг кровати, дотронулся до свежей простыни, но, боясь разбудить отца, отступил.

Когда отец закричал, звук показался Томасу таким странным, что он решил, будто в комнате есть кто-то еще. Тем не менее, когда отец принялся что-то выкрикивать, Томас узнал его голос, несмотря на полную бессмысленность слов. Отец сел в кровати, держась за живот. Затем с усилием опустил ноги на пол, но тут же без сил рухнул обратно.

Первой мыслью Томаса было в страхе выскочить из комнаты, но отец застонал, не открывая глаз и все так же прижимая руку к животу, и Томас приблизился и спросил, не позвать ли мать.

– Ничего, – сказал отец.

– Что? Мне позвать маму?

– Ничего, – повторил отец, открыл глаза и с гримасой боли на лице посмотрел на Томаса. – Ты ничего не знаешь, – сказал он.

Томас бросился вон из комнаты. На лестнице, обнаружив, что проскочил нужный этаж, он вернулся в вестибюль, нашел консьержа, который позвал управляющего. И пока он объяснял им, что случилось, вернулись мать с Идой.

Томас последовал за ними в комнату, где обнаружил, что отец мирно сопит в своей кровати.

Мать вздохнула и мягко извинилась за переполох. Томас понимал: бесполезно объяснять ей, свидетелем чего он стал.

По возвращении в Любек отец совсем ослабел, однако дожил до октября.

Томас слышал, как тетя Элизабет жаловалась, что, лежа на смертном одре, сенатор перебил священника кратким «Аминь».

– Он никогда не любил слушать, – сказала тетя, – но к священнику мог бы и прислушаться.

В последние дни жизни отца Генрих как ни в чем не бывало общался с матерью, а Томас не знал, что ей сказать. Ему казалось, она прижимает его к себе слишком крепко, а его попытки вырваться ее оскорбят.

Услышав, как тетя Элизабет с кузиной шепотом обсуждают завещание отца, Томас вздрогнул, отпрянул, но затем придвинулся ближе и услышал, что Юлии нельзя доверять.

– Что уж говорить о мальчишках? – продолжила тетя. – Этих двоих! Семейству конец. Скоро люди, которые кланялись мне на улицах, станут смеяться мне в лицо.

Она хотела продолжить, но кузина, заметив, что Томас слушает, толкнула ее в бок.

– Томас, ступай проследи, чтобы твои сестры были одеты надлежащим образом, – сказала тетя Элизабет. – Я заметила на Карле совершенно неподходящие туфли.

На похоронах Юлия Манн улыбалась тем, кто подходил с соболезнованиями, но дальнейших излияний не поощряла. Она ушла в свои мысли, окружив себя дочерьми и позволив сыновьям взять на себя общение с теми, кто хотел их уте-

шить.

– Вы не могли бы оградить меня от этих людей? – взмолилась она. – Когда они задают вопрос, не могут ли чем-нибудь помочь, попросите их не смотреть на меня с такой скорбью.

Томас никогда не видел ее такой чуждой и не от мира сего.

На следующий день после похорон, сидя с детьми в гостиной, Юлия наблюдала, как ее золовка Элизабет с помощью Генриха пытается передвинуть диван и одно из кресел.

– Элизабет, оставь в покое мебель, – сказала Юлия. – Генрих, верни диван на место.

– Юлия, я считаю, что диван должен стоять напротив стены, вокруг него слишком много столов. У тебя всегда было слишком много мебели. Моя мать всегда говорила...

– Не трогай мебель! – перебила ее Юлия.

Элизабет молча проследовала к камину, где и осталась стоять, как героиня спектакля, которой нанесли смертельную обиду.

Поняв, что Генрих намерен сопровождать мать в суд, где будет оглашено завещание, Томас удивился, что они не позвали его с собой, но мать выглядела такой озабоченной, что он не стал жаловаться.

– Ненавижу выставять себя на всеобщее обозрение. Что за варварский обычай оглашать завещание на публике! Весь Любек будет обсуждать наши семейные дела. И, Генрих, ты не мог бы помешать твоей тете Элизабет взять меня под ру-

ку, когда мы будет выходить из суда? А если они захотят сжечь меня на площади после оглашения, передай, я освобожусь в три.

Томас гадал, кто теперь будет вести дела. Вероятно, отец указал в завещании каких-нибудь видных горожан и пару-тройку конторских служащих, которым поручил вести дела до того, как семья примет решение. На похоронах он чувствовал, что его разглядывают, – сына, на чьи плечи может опуститься тяжкий груз ответственности. Он вошел в спальню матери, где встал перед зеркалом в пол. Если напустить на себя суровый вид, можно представить, как каждое утро он приходит в контору и распекает подчиненных. Услышав голоса сестер, которые звали его снизу, Томас отступил от зеркала, ощущая собственное ничтожество.

С верхней площадки лестницы он услышал, что мать с Генрихом вернулись из суда.

– Он изменил завещание, чтобы весь мир узнал, что он о нас думает, – сказала Юлия. – И они все были там, все добрые граждане Любека. А поскольку они больше не сжигают ведьм на кострах, они публично унижают вдов.

Томас спустился вниз и увидел, что Генрих очень бледен. Поймав взгляд брата, он понял: что-то случилось.

– Отведи Томми в гостиную и запри за собой дверь, – сказала Юлия. – Расскажи ему, что случилось. Я бы поиграла на рояле, если бы не соседи. Поэтому я уйду к себе. И я не желаю, чтобы детали этого завещания обсуждались в мо-

ем присутствии. А если твоя тетя Элизабет осмелится заглянуть, скажи, что я сломлена горем.

Закрыв за собой дверь гостиной, Генрих и Томас стали читать копию завещания, которую Генрих принес с собой.

Оно было написано за три месяца до смерти и начиналось тем, что отец назначал опекунов, которые должны были определить будущее его детей. Ниже сенатор излагал, какого низкого мнения он придерживается о собственных отпрысках.

«Следует как можно решительнее воспротивиться попыткам моего старшего сына посвятить себя литературе. По моему мнению, он не обладает для этого достаточным образованием и умом. В основе его склонности – болезненное воображение, отсутствие дисциплины и равнодушие к мнению окружающих, вероятно проистекающие от его легкомыслия».

Генрих дважды перечитал этот пассаж, громко хохоча.

– А вот и про тебя, – продолжал Генрих. – «Мой второй сын обладает добрым нравом, и его следует приставить к какому-нибудь полезному делу. Надеюсь, он станет опорой для своей матери». Ты и мать, подумать только! Приставить! Кто бы мог подумать – обладает добрым нравом! Еще одна из твоих масок.

Генрих прочел предупреждение отца насчет буйного характера Лулы и его желание, чтобы Карла вместе с Томасом хранили мир в семье. О малыше Викторе сенатор писал: «За-

частую из поздних детей выходит толк. У ребенка хорошие глаза».

– Дальше – хуже. Ты только послушай!

Генрих зачитал вслух, подражая напыщенному отцовскому голосу: «По отношению к детям моей жене следует вести себя строго, держа их в полном повиновении. А если станет сомневаться, пусть прочтет „Короля Лира“».

– Я знал, что отец был человеком мелочным, – заметил Генрих, – но не подозревал, что он был еще и злопамятным.

Официальным голосом Генрих зачитал брату условия отцовского завещания. Сенатор хотел, чтобы семейный бизнес и родовое гнездо после его смерти были проданы. Все деньги наследовала Юлия, но двое самых навязчивых горожан, которых при жизни мужа она терпеть не могла, будут руководить ею в принятии финансовых решений. Два опекуна должны были также надзирать за воспитанием детей. В завещании оговаривалось, что четыре раза в год Юлии придется отчитываться тонкогубому судье Августу Леверкюну об их успехах.

Когда в следующий раз их навестила тетя Элизабет, ей даже не предложили присесть.

– Ты знала о завещании моего мужа? – задала ей вопрос Юлия.

– Меня не спрашивали, – ответила Элизабет.

– Я спросила не об этом. Ты знала о завещании?



– Юлия, не при детях!

– Мне всегда хотелось это сказать, – промолвила Юлия, – и теперь, став свободной, я могу себе это позволить. И я сделаю это в присутствии моих детей. Я никогда тебя не любила. И мне жаль, что твоя мать умерла и я не успела сказать ей того же.

Генрих попытался ее остановить, но Юлия от него отмахнулась.

– Этим завещанием сенатор хотел меня унижить.

– Все равно ты не смогла бы управлять семейным бизнесом, – сказала Элизабет.

– Я бы сама определилась. Вместе с моими сыновьями.

У жителей Любека – тех, кого Юлия дразнила на званых вечерах в доме мужа, для герра Келлингхузена и герра Кадовиуса, юной фрау Штавенхиттер и фрау Маккентхун, для женщин, которые не сводили с нее глаз, осуждая каждый ее поступок, вроде фрау Овербек и ее дочери, – решение вдовы обосноваться с тремя младшими детьми в Мюнхене, оставив Томаса заканчивать школу в Любеке, а также позволить Генриху отправиться в путешествие, чтобы найти свое место в мире литературы, вызвало всеобщее осуждение.

Если бы вдова сенатора Манна решила переехать в Люнебург или Гамбург, добропорядочные жители Любека сочли бы это всего лишь доказательством ее ненадежности, но Мюнхен для ганзейских бюргеров воплощал собой юг, а

юг они не любили и никогда ему не доверяли. Мюнхен был городом католическим, богемским. Его жители понятия не имели об истинных добродетелях. Никто из жителей Любека не задержался бы в Мюнхене дольше, чем пришлось бы по необходимости.

Весь Любек судачил о фрау Манн, особенно после того, как тетя Элизабет сообщила всем по секрету, как грубо обошлась с ней Юлия и как оскорбила память ее матери.

Какое-то время в городе только и говорили что о неумном характере вдовы сенатора и ее безрассудном плане. И никому, даже Генриху, не пришло в голову, как ранило Томаса то, что отец не оставил семейное дело ему, даже если некоторое время им управляли бы другие люди.

Томаса потрясло, что придется расстаться с тем, что в мечтах он давно считал своим. Он понимал, что управление семейным делом было не единственным возможным вариантом его судьбы, но злился на отца, который так самонадеянно ею распорядился. Ему была неприятна мысль, что отец разглядел иллюзорность мечтаний, которые ему казались такими настоящими. Томас жалел, что не показал достаточно-го усердия, чтобы убедить его проявить щедрость.

Вместо этого сенатор бросил семью на произвол судьбы. Раз ему самому не жить, так пусть страдают те, кто еще живы. Томас горевал, что все усилия поколений Маннов из Любека пошли прахом. Время его семьи миновало.

Не важно, где им случится обосноваться, Манны из Лю-

бека никогда не станут теми, кем были при жизни сенатора. Казалось, это совершенно не волнует ни его брата Генриха, ни сестер, ни даже мать, — их тревожили насущные заботы. Он видел, что это понимает его тетя Элизабет, но едва ли Томас стал бы обсуждать с нею закат собственной семьи. Ему было не с кем поделиться своими печальями. Отныне его семья будет с корнем вырвана из любекской почвы. Не важно, куда он отправится потом, ему никогда уже не обрести былой важности.

## Глава 2

### Любек, 1892 год

Оркестр исполнял прелюдию к «Лоэнгрину». Томас слушал, как струнные топтались на месте, намекая на тему, которой еще только предстояло развиваться. Затем мелодия сдвинулась, поднимаясь и опускаясь, пока не замерла на жалобной скрипичной ноте; звук окреп, обрел мощь и силу.

Этот звук почти успокоил Томаса, но вскоре стал пронзительнее, приглушенно и мрачно вступили виолончели, побуждая скрипки и альты наращивать мощь, и Томас поймал себя на том, что единственным чувством, которое пробуждал в нем оркестр, было ощущение собственной малости.

Дирижер простер руки, инструменты заиграли разом; и только когда забили барабаны и загромыхали тарелки, Томас почувствовал постепенное затухание, движение к финалу.

Когда слушатели зааплодировали, Томас к ним не присоединился – просто сидел, смотрел на сцену и музыкантов, которые готовились исполнить симфонию Бетховена, завершавшую вечер. После концерта он не спешил уходить, хотелось побыть внутри музыки еще немного. Интересно, разделял ли кто-нибудь из слушателей его мысли? Томас так не думал.

Это Любек, здесь люди скупы на эмоции. Они с легкостью отринут воспоминания о музыке, которую только что прослушали.

Внезапно Томасу пришло в голову: а ведь эта идея могла бы увлечь отца в последние дни его жизни, когда сенатор уже знал, что умирает. Идея парящего звука, взмывающего в выси, где земная власть не имеет силы, открывающего дверь в иное измерение, где царит лишь дух, где живет надежда обрести покой после горестного унижения смертью.

Томас думал о выставленном на всеобщее обозрение трупе отца в строгом костюме, словно пародия на заснувшего чиновника. Сенатор лежал холодный, собранный, углы губ были опущены и крепко сжаты, бескровные руки, лицо, меняющиеся на глазах. Томас вспомнил осуждающие взгляды людей, когда мать отвернулась от гроба, прикрыв ладонью лицо.

Томас шел к дому доктора Тимпе, школьного учителя, у которого мать, не желая отвлекать сына от учебы, сняла кров. Завтра он окунется в рутину Катаринеума: снова уравнения, грамматические правила, зубрежка стихов. Весь день, как и прочие, он будет притворяться, что нет ничего естественнее, чем проводить время таким образом. Куда проще сосредоточиться на ненависти к этому месту, чем без конца вспоминать о комнате, навсегда потерянной после отъезда матери, Лулы, Карлы и Виктора в Мюнхен. Стоило только

подумать о том, как там было тепло и уютно, и станет совсем грустно. Нужно чем-то отвлечься.

Он мог бы помечтать о девушках. Томас знал, что порой задумчивый и сосредоточенный вид одноклассников объяснялся тем, что они думали о них непрерывно. Одноклассники с напускной храбростью отпускали шуточки, но внутри их переполняли застенчивость и смущение. Иногда, глядя, как с грубым хохотом они по двое-трое шатаются по улицам, Томас ощущал скрытую энергию их желаний.

Несмотря на скуку, ближе к полудню класс охватывало предвкушение скорого освобождения. И даже если на пути домой их не ждало ничего особенного, их возбуждала сама возможность повстречать юную красотку или разглядеть в окне девичий силуэт.

По пути с концерта Томас размышлял о комнатах на верхних этажах, в которых именно сейчас, когда он проходил мимо, какая-то девушка готовилась лечь в постель, поднимала руки, стягивая блузку, или наклонялась, чтобы снять то, что носила под юбкой.

Поднимая глаза, он видел мерцающий свет в незашторенных окнах, гадал, что происходит в комнатах. Томас воображал, как пара входит в комнату и мужчина закрывает за собой дверь; воображал раздетую девушку, ее белое белье и нежную кожу. Однако, когда он пытался представить себя на месте мужчины, мысли разбегались. Томас чувствовал, что не хочет следовать мыслью за тем, что всего мгновение назад

казалось таким зримым.

Он предполагал, что, воображая подобные сцены, которые могли жить только в самых затаенных мечтах, его одноклассники едва ли ощущали себя увереннее.

Томас дожидался, когда, оказавшись в крохотной спальне на первом этаже окнами во двор, даст волю фантазиям. Иногда, прежде чем погасить свет, он начинал новое стихотворение или добавлял строчку в начатое. Размышляя над подходящей метафорой для сложных путей любви, Томас не думал о девушках в темных комнатах, не пытался вообразить близость между мужчиной и женщиной.

В его классе учился юноша, с которым Томас разделял иной вид близости. Звали его Армин Мартенс. Как и Томасу, ему было шестнадцать, хотя выглядел Армин моложе. Его отец, мельник, некогда знал отца Томаса, хотя семья Мартенс была не чета Маннам.

Заметив интерес Томаса, Армин не выказал удивления. Они начали вместе гулять, убедившись, что никто из одноклассников не увязался следом. Томаса поражало, что Армин беседовал с ним о душе, об истинной природе любви, о музыке и поэзии с той же легкостью, с какой обсуждал со сверстниками девушек или гимнастику.

Армин со всеми держался непринужденно, улыбался открыто и искренне, источая ауру доброты и невинности.

Когда Томас писал, что хотел бы преклонить голову на грудь возлюбленного и в темнеющих сумерках прогуляться

в благословенное место, где они останутся одни на целом свете, когда он писал о слиянии душ, он воображал Армина Мартенса.

Он гадал, осмелится ли Армин подать ему знак, позволит ли перевести разговор с музыки и поэзии на чувства, которые они испытывали друг к другу.

Со временем Томас стал понимать, что придает этим прогулкам куда большее значение, чем его друг. Ему приходилось все время себя одергивать, позволяя Армину держать дистанцию, раз уж для него это было так важно. Когда он печально размышлял о том, как мало способен дать ему Армин, возможность быть отвергнутым воспаляла его кровь, рождая болезненное и почти блаженное чувство.

Эти мысли мелькали словно всполохи света, словно порывы холодного ветра. Он не знал, как их укрощать и как им потворствовать. День тянулся, унылый и заунывный, и мысли улетучивались. В парте Томас хранил собственные стихи и любовные стихотворения великих германских поэтов, которые выписывал на отдельные листы. Во время урока, если учитель не отходил от доски, он вытаскивал и читал про себя одно из них, поглядывая на Армина, который сидел впереди через узкий проход.

Интересно, как повел бы себя Армин, если бы в доказательство своих чувств он показал ему эти стихотворения?

Иногда они прогуливались молча, и Томас наслаждался близостью. Если на пути встречался приятель, Армин дру-



жески, но твердо давал понять, что им компания не нужна.

Часто, особенно в начале их прогулок, Томас позволял Армину вести разговор. Его друг никогда не отзывался дурно о товарищах или учителях. Армин взирал на мир расслабленно и доброжелательно. К примеру, упоминание об учителе математики герре Иммертале, к которому Томас испытывал непреодолимое отвращение, у Армина вызывало лишь улыбку.

Порой Томасу хотелось поговорить о музыке и поэзии, в то время как Армина занимали более приземленные материи, к примеру уроки верховой езды или спорт. Но когда Томас поднимал более возвышенные темы, Армин подхватывал их с той же охотой.

Непринужденность, уравновешенность, принятие этого мира, отсутствие притворства и хвастовства, свойственные его другу, заставляли Томаса искать общества Армина Мартенса.

Время шло, и Томас стал замечать, что Армин меняется, становясь выше, шире в плечах, и что он начал бриться. Армин был уже не мальчик, но и не взрослый мужчина, и это заставляло Томаса испытывать к нему еще большую нежность. Иногда поздно ночью Томас исполнялся решимости показать другу новое стихотворение, не оставлявшее сомнений в том, что Армин – предмет его страсти.

В первой строфе речь шла о том, как красноречиво герой говорит о музыке, в следующей – о том, как выразительно он

вещает о поэзии. В финале стихотворения Томас писал, что предмет его обожания соединяет красоту музыки и поэзии в своем голосе и глазах.

Однажды зимой они гуляли, втягивая голову в плечи от пронизывающего сырого ветра, который завывал в кронах деревьев, гремя голыми ветками. В кармане у Томаса лежало новое стихотворение, но он не решился поделиться им с другом. Армин совсем по-детски рассказывал, как любит съезжать по лестничным перилам в отцовском доме. Лучше бы я его сжег, это стихотворение, думал Томас.

Иногда, особенно если в Любеке давали концерт или Томас заговаривал с Армином об одном из любовных стихотворений Гёте, его друг становился серьезным и задумчивым. Когда Томас попытался объяснить, что ощущал, когда слушал прелюдию к «Лоэнгрину», Армин посмотрел на него с любопытством, кивая и всем своим видом выражая сочувствие. Томасу нравилось размышлять вместе с ним о музыке. О таком компаньоне, как Армин, можно было только мечтать.

Он писал стихотворение о влюбленном и предмете его страсти, которые шагают в молчании, думая об одном, и только шум ветра их разделяет, только голые ветви напоминают им о бренности всего сущего, и только их любовь вечна. В последней строфе влюбленный призывал предмет своей страсти, сопротивляясь неумолимому бегу времени, раз-

делить вечность друг с другом.

Томас знал, что из-за дружбы с ним Армин стал предметом шуток одноклассников. Томаса считали тюфяком, витающим в облаках, слишком гордящимся былым положением своей семьи. Он знал также, что Армин одергивал зубоскалов, не понимая, с какой стати ему отказываться от дружбы с Томасом. Армин очевидно испытывал к нему искреннюю симпатию. Едва ли он удивится, если Томас покажет ему свое стихотворение. Или признаться ему в своих чувствах как-то иначе?

Однажды на уроке, когда учитель стоял лицом к доске, Армин повернулся к Томасу и улыбнулся ему. Его недавно вымытые волосы блестели, чистая кожа светилась изнутри, глаза сияли. Томас не мог не заметить, каким привлекательным юношей он стал. Мог ли Армин разделять его чувства? Он никому так больше не улыбался.

На следующий день друзья собрались на прогулку. Пока они шли к складам, дул легкий ветерок, в просветах между туч проглядывали солнечные лучи. Довольный Армин расписывал поездку в Гамбург, которую они с отцом недавно совершили.

Они шагали, уворачиваясь от лошадей, повозок и грузчиков, затем остановились – несколько бревен скатились с повозки, заставив возчика просить помощи у товарищей. Однако чем жалобнее он просил, тем грубее становились оскорбления на местном диалекте, которыми портовые рабо-

чие его осыпали, заставляя Томаса с Армином покатываться от хохота.

– Хотел бы я уметь так выражаться, – заметил Армин.

Когда кто-то из грузчиков решил помочь, бревна посыпались еще сильнее. Армин наслаждался происшествием. Он смеялся, обнимая Томаса сначала за плечи, потом за талию. А когда грузчики начали складывать бревна, а бревна посыпались на них сверху, вызвав еще один всплеск проклятий, от полноты чувств он сжал его в объятиях.

– Вот за что я люблю Любек, – сказал Армин. – В Гамбурге все современное и строго по правилам. Я бы хотел жить только здесь.

Пока они смотрели, как двое с опаской поднимают бревна, Томасу пришло в голову, что он должен обнять Армина в ответ, но сомневался, что сумеет сохранить невозмутимость.

Они пошли к старым портовым складам, свернув на тихую боковую улочку, где не было ни повозок, ни людей. Армин сказал, что по ней они выйдут к порту, где стоят новые суда.

– Я хочу тебе кое-что показать, – промолвил Томас.

Он вытащил из кармана два листка бумаги со стихотворениями и протянул Армину, который углубился в чтение, сосредоточенно разбирая буквы и строфы.

– Кто это написал? – спросил он, дочитав стихотворение, в котором предмет любви сравнивался с музыкой и поэзией.

– Я, – ответил Томас.

Армин, не поднимая глаз, принялся за второе стихотво-

рение.

– А это тоже твое? – спросил он.

Томас кивнул.

– Ты показывал их кому-нибудь еще?

– Нет. Только тебе.

Армин не ответил.

– Я посвятил их тебе, – сказал Томас почти шепотом. Ему хотелось протянуть руку и дотронуться до плеча Армина, но он сдержался.

Покраснев, Армин смотрел себе под ноги. На миг Томас испугался: а вдруг Армин решит, что его намерения нечисты, что он, Томас, хочет, чтобы они укрылись вдвоем в пустующем складе. Он должен объяснить Армину, что ему не нужны лихорадочные объятия, достаточно теплого слова, взгляда, жеста. Это все, о чем он просит.

Поглядывая на Армина, Томас был готов расплакаться. Перевернув листки, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь еще, его друг внимательно перечитал стихотворения.

– Не думаю, что похож на музыку или поэзию, – сказал он, – я – это я. А кто-то скажет, что я похож на отца. И я не уверен, что хотел бы прожить жизнь с поэтом. Я буду жить в отцовском доме, пока не обзаведусь собственным. Давай лучше спустимся в порт и посмотрим на корабли.

Передавая стихотворения Томасу, он шутливо ткнул его в грудь.

– Сделай так, чтобы никто больше их не прочел. Тебя мои

приятели давно раскусили, но ты можешь разрушить мою репутацию.

– Мои стихотворения ничего для тебя не значат?

– Я предпочитаю стихам корабли, а кораблям девушек, чего и тебе желаю.

Армин зашагал вперед. Оглянувшись и заметив, что Томас все еще держит стихотворения в руках, он расхохотался:

– Спрячь их, иначе кто-нибудь прочтет и сбросит нас в воду.

В последний год в Катаринеуме Армин Мартенс изменился. Как и Томас, он посерьезнел, утратив ребячество и дружелюбие. Не за горой времена, когда Армин начнет работать на отцовской мельнице, обзаведется своей конторой. Он уже ощущал собственную значимость. Не подозревая о безрадостности своей судьбы, Армин готовился встроиться в деловую жизнь Любека.

Вильри, сын доктора Тимпе, на год старше Томаса, жил на верхнем этаже в комнате окнами на улицу. Хотя они знали друг друга по школе, Вильри с порога дал понять Томасу, что не намерен водить с ним дружбу. Томаса удивляло, что доктор Тимпе почти гордился тем, что сын не испытывал интереса к наукам и книгам.

– Ему нравится бывать на свежем воздухе и возиться с механизмами, – говорил доктор Тимпе, – и, возможно, этот мир стал бы лучше, если бы мы разделяли его пристрастия.

Не всем же сидеть за книгами.

Никто не протестовал, когда Вильри вставал из-за стола во время обеда и выходил из комнаты. Отца умиляло, что сын выше его и шире в плечах.

— Скоро он сам начнет мне указывать, как себя вести. Какой смысл делать ему замечания? Он уже имеет собственное мнение обо всем на свете. Совсем взрослый стал.

И он переводил взгляд на Томаса, не пропускавшего трапез, в надежде, что тот научится чему-нибудь у его сына.

По ночам Томас слышал Вильри за тонкой перегородкой. Он воображал, как тот готовится ко сну, как лежит под теплым одеялом. Томас улыбался, думая, что ни за что на свете не посвятил бы Вильри стихотворение, да и никто бы не посвятил. Возможно, Томас написал уже достаточно стихов. Тем не менее при мыслях о Вильри он часто ощущал возбуждение.

Однажды вечером Вильри постучался в его дверь и попросил помочь с латынью. Сидя на краешке кровати и изучая текст, Томас заметил, что Вильри начал раздеваться. Смутившись, он хотел было сказать, что посмотрит задание утром, и обнаружил, что Вильри стоит к нему спиной почти голышом. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять: латынь тут ни при чем. Вильри пригласил Томаса ради другого.

Скоро свидания в комнате Вильри стали ритуалом. На цыпочках подойдя по скрипучему полу к комнате Вильри, То-

мас входил без стука. Лампа горела, а Вильри лежал на узкой кровати полностью одетый.

Однажды вечером, возвращаясь от тети Элизабет, Томас, осторожно переставляя ноги, беззвучно поднялся по лестнице. Сквозь щель в двери он заметил, что в комнате Вильри горит свет. Сняв пальто в своей комнате, он присел на кровать. Иногда его возбуждало, когда Вильри заходил за ним сам.

Томас прислушался. Любой звук сверху услышат внизу, где спала семья доктора.

Вильри не спеша входил к комнату Томаса и слегка приоткрывал шторы, словно всмотреться в ночную темень и было целью его прихода. А когда оборачивался, лицо было спокойным и довольным. Он подходил к Томасу и на миг касался рукой его лица. Затем улыбался и молча смотрел на него, а Томас смотрел на него в ответ.

По знаку Вильри Томас, сняв туфли, шел за ним в его комнату. Вильри закрывал за ним дверь и, приложив палец к губам, показывал Томасу на кровать. Томас ложился на спину, заложив руки за голову. Стоя к нему спиной, Вильри начинал раздеваться.

Это был ритуал, который они исполняли, пока остальные спали. Сначала Вильри снимал пиджак и вешал его на спинку единственного в комнате стула, двигаясь так, словно был один в комнате. Затем расстегивал брюки и снимал их, кладя на сиденье. С кровати Томас разглядывал его сильные без-



волосые ноги. Он знал, что сейчас Вильри избавится от белья, затем стянет носки. Это мгновение он постарается не забыть, когда вернется к себе в комнату. Томас привставал, опираясь на подушку, чтобы ничего не пропустить. Засунув носки в туфли, Вильри выпрямлялся и расстегивал сорочку.

Вскоре он стоял перед Томасом совершенно голый. Затем поднимал руки и закладывал за голову, копируя позу Томаса. На какое-то время он замирал, не издавая ни звука, а Томас разглядывал его тело, зная, что ему нельзя ни встать с кровати, ни обнять Вильри.

Однажды ночью, когда Вильри, как обычно, стоял перед ним, демонстрируя эрекцию, Томас расстегнулся, подошел к нему и впервые в жизни коснулся Вильри, который был только этому рад. Томас, как и его компаньон, был потрясен, внезапно испытав оргазм и несколько раз резко вскрикнув. Вильри шепотом велел ему немедленно возвращаться к себе и потушить лампу, а сам юркнул под одеяло.

В коридоре Томас услышал, как внизу открылась дверь, затем до него донесся голос доктора:

– Почему вы до сих пор не в постели? Что там происходит?

Затем Томас услышал шаги по лестнице.

Томас понимал, что если, войдя в комнату, доктор коснется лампы, то поймет, что ее только что потушили. Если откинёт одеяло, то увидит, что Томас полностью одет. А если подойдет ближе, то по запаху догадается, чем они зани-

мались с его сыном.

Томас слышал, как доктор открыл дверь Вильри и спросил, что это был за звук? Ответа он не расслышал. Сейчас доктор заглянет к нему. Томас отвернулся к стене и замер, усиленно изображая глубоко спящего человека.

Услышав, как доктор открывает дверь, он постарался дышать размеренно. Наверняка доктор догадался, что это голос Томаса его разбудил, что это из его груди вырвались звуки, над которыми Томас был не властен.

Даже когда дверь закрылась, он какое-то время лежал не двигаясь, опасаясь, что доктор обманул его и до сих пор стоит в темноте.

Вслушиваясь в ночные звуки, Томас подождал еще некоторое время, потом медленно стянул одежду.

С утра Томас гадал, спросит ли доктор о звуках, которые разбудили его среди ночи? Однако за завтраком доктор выглядел рассеянным и молчаливым и не отрывал глаз от газеты. Он почти не взглянул на Томаса, когда тот присоединился к семейству за столом.

После смерти отца и закрытия семейного дела теперь, когда он жил в своего рода пансионе, никому не было до Томаса дела.

Власть и влияние, которые он воспринимал как естественное наследство, ушли в небытие. Пока отец был жив, Томас ощущал себя принцем, наслаждаясь солидным комфортом

семейного гнезда и не переставая восхищаться материнским причудам.

До смерти отца его леность и нерадивость были предметом постоянных дискуссий между учителями, которые становились особенно горячими в конце семестра, когда выставлялись оценки. Некоторые учителя из последних сил сражались с его нежеланием учиться, другие без устали его бранили. Все вместе они делали его каждодневное пребывание в школе невыносимым.

Таким оно и осталось, но по другой причине. Теперь учителя махнули на Томаса рукой. Им больше не было дела до того, понял ли он формулу или украдкой заглянул в тетрадь товарища. Никто не просил его учить стихотворения наизусть, хотя втайне он начал получать удовольствие от творений Эйхендорфа, Гёте и Гердера.

То, чем они с Вильри занимались в его комнате, не было основано на душевной привязанности. Томас понимал, что в будущем Вильри выбросит этот эпизод из головы. Их спонтанная интимная связь была не только тайной и запретной, но и маскировалась равнодушием, которое они демонстрировали в течение дня. После обеда или по воскресеньям они с Вильри никогда не искали общества друг друга.

Томас с трудом удерживался от того, чтобы не дерзить учителям, даже тем, кого раньше терпел. Он кичился тем, что третировал герра Иммерталя. Одноклассники обожали выслушивать его насмешливые замечания и наслаждались

униженным видом учителя. Когда герр Иммерталь жаловался директору, тот писал его матери, а она, в свою очередь, писала Томасу, что, будь жив его отец, он не одобрил бы поведения сына. А поскольку отец назначил ему двух опекунов – герра Крафта Тесдорфа и консула Германа Вильгельма Фелинга, – она будет вынуждена, если жалобы не прекратятся, просить их о содействии.

Томас обнаружил, что в классе, кроме него, есть ученики, которые также обнаруживали интерес к поэзии. Большинство из них вели себя так тихо и скромно, что в младших классах он их почти не замечал. И ни один из них не принадлежал к видным фамилиям Любека.

Теперь, когда учеба приближалась к завершению, эти юноши говорили только о критических эссе, рассказах и стихах. То, что они предпочитали Вагнеру Шуберта и Брамса, его не смущало; он был готов наслаждаться Вагнером в одиночку. Все они мечтали писать для литературных журналов, увидеть свои творения опубликованными. С легкостью редактируя их вирши, Томас вскоре стал для них своего рода наставником. Несмотря на то что они были ровесниками, эти юноши смотрели на него снизу вверх. Его знание немецкой поэзии было для них куда важнее его отвратительных выходов на уроках. И хотя он находил некоторых весьма привлекательными, Томас больше не отваживался посвящать стихи сверстникам.

В то время как большинство его одноклассников не собирались покидать Любек, Томас знал, что, окончив школу, уедет. После продажи семейного дела для него в Любеке не было места. Он часто гулял по городу, спускался к докам, покупал в кафе «Нидереггер» марципаны из бразильского сахара, зная, что скоро оставит эти улицы и они будут жить только в памяти. С Балтики дул холодный ветер, и он понимал, что скоро оставит в прошлом и его.

Мать и сестры регулярно ему писали, но Томас чувствовал в их письмах больше умолчаний, чем откровений. Их тон был слишком формальным. Это давало Томасу возможность отвечать им так же холодно, не упоминая о своих школьных подвигах. Он знал, что мать получает из школы отчеты о его успеваемости, впрочем, в ее письмах о них не было ни слова.

Первый звонок о том, что задумали для него мать и опекуны, прозвучал, когда он навещал тетю Элизабет. Во время визитов племянника она говорила только о былом величии семьи Манн и тех оскорблениях, которые вынуждена терпеть от лавочников, мельников, галантерейщиков и жен людей, которых всю жизнь презирала.

– А теперь еще и это, – печально говорила тетя. – Еще и это.

– Что – это? – спросил Томас.

– Тебе ищут работу конторского служащего. Конторщика! Сыну моего брата!

– Я так не думаю.

– Ты не можешь похвастаться успехами в школе. Все давно махнули на тебя рукой. Люди только и знают, что пенять мне на твоё поведение. Какой смысл и дальше торчать в классе? А значит, быть тебе конторским служащим. Или у тебя есть идеи получше?

– Никто при мне об этом не упоминал.

– Наверное, ждали, когда договорятся.

Томас посылал брату свои стихотворения, и тот выражал восхищение некоторыми из них, хотя Томас не отказался бы выслушать более подробный разбор рифм и образов. Однако не это, а пассаж в самом конце письма от Генриха заставил его подскочить на стуле: «Мне сказали, что вскоре ты оставишь Любек, променяв парту на конторский стол. Раз существуют земля, вода и воздух, должен быть и огонь. Поэтому для тебя это хорошая новость».

Он написал Генриху, прося объясниться, но тот ему не ответил.

Однажды, вернувшись из школы, Томас застал в маленькой гостиной доктора Тимпе консула Фелинга. Грозный консул не кивнул ему, не подал руки, и Томас успел испугаться, решив, что им не удалось сохранить в тайне их с Вильри полуночные забавы.

– Это делается с согласия твоей матери. Все уже решено. Думаю, твой отец был бы доволен. Вряд ли твои учителя расстроятся, если ты их покинешь.

– Что решено?

– Через несколько недель ты приступишь к работе в страховой конторе Шпинеля в Мюнхене. Это должность, которой могут позавидовать многие молодые люди.

– Почему мне не сказали раньше?

– Я говорю сейчас. В школу можешь не возвращаться. Убедись, что доктор Тимпе не имеет к тебе претензий. И не забудь до отъезда в Мюнхен нанести визит тете.

Консул устроил его переезд в Мюнхен. Поскольку в письмах мать ни разу не упоминала о его предстоящей работе в страховой конторе, он не сомневался, что убедит ее отказаться от этой мысли. Среди писем, которые он получал из дома, одно привлекло его внимание. Словно о чем-то само собой разумеющемся Лула писала, что Генрих получает от матери ежемесячное содержание.

Томас знал, что продажа семейного дела принесла его матери немалую сумму, но он полагал, что все деньги куда-то вложены и мать живет на проценты. Раньше ему просто не приходило в голову, что этими деньгами могут пользоваться Генрих, он сам и его сестры.

Но Генрих теперь обитал между Мюнхеном и Италией. Он выпустил первую книгу, публикацию которой, по словам Лулы, оплатила мать; его рассказы печатались в журналах. Сестра считала, что поддержка матери позволила Генриху посвятить себя литературной карьере и безбедно жить в Италии, производя впечатление человека, совершенно довольного жизнью.

Томас жалел, что в переписке с матерью редко упоминал о школьном журнале и стихотворениях, которые там опубликовал. Ему следовало объяснить ей, как он предан литературе и как ценят друзья его сочинения. И тогда ему было бы куда проще просить ее выделить ему содержание, чтобы жить, как старший брат.

Томас сложил все, что успел написать и опубликовать, в аккуратную папку, намереваясь передать ее матери. Она поймет, что, в то время как Генрих пишет обычные рассказы, Томас – поэт в духе Гёте и Гейне. Он верил, что мать будет впечатлена.

По приезде в Мюнхен Томас надеялся, что мать в первый же вечер объяснит ему, что представляет собой работа в страховой конторе, ради которой ему пришлось оставить школу. Однако в тот вечер они говорили о чем угодно, только не о причине его приезда.

Внешний вид матери его удивил. Юлия до сих пор носила черный, но теперь одевалась явно не по возрасту. Даже ее прическа с челкой и сложной системой гребней и зажимов больше подошла бы женщине помоложе. Она красила лицо, а помаду, как она гордо призналась сыну, заказывала в Париже. Зайдя в ее спальню, Томас заметил, что косметикой уставлен весь туалетный столик. Юлия с Лулой, которая успела превратиться в хорошенькую девушку, на равных обсуждали наряды и, к изумлению Томаса, мужчин, которых



собирались пригласить на ужин в качестве потенциальных ухажеров для одной или другой.

На следующий вечер, который Томас надеялся посвятить серьезному разговору с матерью, Юлия с Лулой только и говорили о званом обеде, на котором не присутствовали, но где все дамы были в платьях новой длины.

– Вряд ли это новшество приживется, – заметила Юлия.

– Но так все носят, – сказала Лула. – И только мы плетемся в хвосте.

– Нам следует это исправить.

– Как?

– Будем как все. Я никогда не гналась за модой, но, если ты считаешь, что так правильно, я прислушаюсь. В Любеке я сама устанавливала моду.

Томас решил, что пора прогуляться. Весна в Мюнхене выдалась теплая. Хорошо, что Генрих в Италии и он может самостоятельно исследовать город. Улицы были полны прохожих, люди сидели на верандах кафе. Он нашел место, где мог незаметно разглядывать толпу.

Время шло, и Томас замечал, что совершенно не скучает по Любеку. Даже посреди летней жары в тамошнем воздухе чувствовалась прохлада. Там было принято отводить глаза, встречая взгляд незнакомца. В Любеке никто не выходил из дома после шести, даже летом. Люди жили в вечном ожидании зимы. Они чувствовали себя счастливыми только по дороге в церковь на чудовищно долгую службу, которую прони-

кающие повсюду звуки органных прелюдий Букстехуде делали еще тоскливее. Томас чувствовал отвращение к холодному северному протестантизму и весьма слабый интерес к любекской торговле. В Мюнхене встретить на улице священника можно было так же часто, как полицейского, и выглядели святые отцы при этом так, словно празднично шатались по городу. Это было легкое, веселое место, и Томас строил планы после разговора с матерью поселиться в Мюнхене и жить в свое удовольствие.

Ему приходилось и раньше бывать в мюнхенской квартире Юлии, но он все еще удивлялся, замечая в куда менее вместительных комнатах мебель из Любека и даже вещи из дома его бабки. Рояль матери заполнял почти половину гостиной. Томасу казалось, что столы и кресла, картины и канделябры из Любека здесь только смущали общий покой и выглядели комично, совершенно не вписываясь в интерьер.

Его мать по-прежнему считала нужным подчеркивать свою особость и заграничный лоск, обставляя квартиру в стиле принцессы в изгнании, но правда была в том, что Юлия потерпела поражение. Она понимала, и не скрывала этого от детей, что социальный успех, которого она рассчитывала достичь в Мюнхене, ускользнул от нее. Каждый вечер в городе давались званые обеды и вечера, на которые ее не приглашали.

В ней словно погас внутренний огонь, уступив место меланхолии и неумеренной обидчивости. И если в былые дни

в Любеке она отнюдь не находила местное общество занятым и легкомысленным, теперь и сама Юлия обнаруживала склонность раздражаться по пустякам. То почтальон опаздывал, то покупку доставляли не утром, а после обеда, то хороший знакомый не считал нужным пригласить ее в свою ложу, то какой-нибудь из ее собственных детей, к несчастью для Томаса, вел себя не так, как ей бы хотелось.

Гуляя по Швабингу, где была квартира его матери, Томас открывал для себя новый мир. Молодые люди, похожие на художников или писателей, уверенно шагали по улицам, ведя громкие беседы. Он гадал: так было всегда или он начал замечать их только в последний приезд? Компании за столиками недавно открытых кафе были поглощены разговорами. И хотя эти люди были всего лишь на несколько лет старше Томаса, они принадлежали к другому миру. Он подмечал в них некоторые странности, например сочетание небрежного кроя одежды со старомодными прическами. При встречах и расставаниях юноши обнаруживали превосходные манеры, однако их смех отличался развязностью, к тому же позволял им демонстрировать зубы, неприлично испорченные табаком. Юноши казались легкомысленными, но внезапно становились серьезными, лениво откидывались на спинку стула, тут же подаваясь вперед и поднимая палец в прокуренном воздухе, чтобы подчеркнуть свою мысль.

Томас прислушивался к разговорам. Некоторые из молодых людей были журналистами, другие – критиками, третьи

преподавали в университете. На улицах он встречал группы по двое-трое с папками в руках. Это художники, думал он, на пути в класс, мастерскую или галерею. Они вели себя так, словно не только этот город, но и будущее принадлежало им.

В первую неделю Томас гулял по улицам после ужина, возвращаясь поздно и надеясь, что никого не разбудил. И каждый вечер, когда решал наконец отправиться домой, он ощущал отчаянное одиночество. В кафе он был отгорожен от мира, который так его манил. Интересно, знает ли Генрих здесь хоть кого-нибудь? Прочти эти гении его юношеские стихи, они ни за что не взяли бы его в компанию. Молодые люди выглядели такими ироничными, такими космополитичными, что его безыскусная любовная лирика вызвала бы у них насмешку. Ему было нечем с ними поделиться. Томас ощущал себя незрелым и наивным школьником, но от этого желание стать частью их мира не ослабевало.

Дома за ужином разговоры крутились вокруг нарядов и мужчин. Томас был уверен: будь жив отец, тот непременно заметил бы, что это не самые подходящие темы для застольных бесед и что к расширению круга знакомств его дочерей следует подходить более ответственно.

Однажды вечером, когда он уже не мог выносить разговоров о новых знакомых, Томас не выдержал.

– Надеюсь, что никогда не увижу никого из этих господ. Они похожи на кассиров в банке.

Сестрам не понравилось его замечание. Мать смотрела

прямо перед собой.

Однажды вечером, поднявшись в спальню, Томас обнаружил на кровати конверт, в котором лежал фирменный бланк страховой конторы Шпинеля: в понедельник ему надлежало явиться на службу, где круг его обязанностей будет определен. Вероятно, конверт оставила мать. И поскольку до означенного срока оставалось пять дней, он решил, что медлить, откладывая серьезный разговор, больше нельзя.

На следующий вечер, когда сестра отправилась по магазинам, а слуга повел Виктора в парк, он услышал, как мать играет Шопена. Собрав свои стихотворения и несколько прозаических отрывков, он спустился в гостиную и тихо присел в углу.

Закончив, Юлия встала с усталым видом.

– Нам нужна квартира побольше или приличный дом, – сказала она. – Здесь все так скученно.

– Мне нравится Мюнхен, – заметил Томас.

Она отвернулась к роялю, словно не расслышала, и принялась листать ноты. Томас подошел к ней и встал сзади.

– Это мои сочинения, – сказал Томас, – некоторые из них опубликованы. Я хочу посвятить свою жизнь литературному труду.

Его мать продолжала листать ноты.

– Большинство из них я читала, – сказала она.

– Я не знал.

– Генрих присылал их мне.

– Генрих? Он никогда об этом не упоминал.

– Возможно, это к лучшему.

– Что ты имеешь в виду?

– Генрих о них весьма невысокого мнения.

– Он писал мне, что восхищается некоторыми из них.

– Очень мило с его стороны. Мне он писал совершенно обратное. Я могу показать его письма.

– Он поддержал меня в моем намерении.

– Неужели?

– Мне найти его письма?

– Не думаю, что это необходимо, теперь у тебя есть работа. Ты приступаешь с понедельника.

– Я литератор, и я не желаю служить в конторе.

– Я могу прочесть тебе то, что он писал, чтобы ты опустился с небес на землю.

Юлия вышла их комнаты. Вернулась она со стопкой писем, села на диван и принялась перебирать конверты.

– Вот! Оба. В первом он описывает тебя как «юную любящую душу, раздираемую чувственностью». Во втором письме Генрих называет твои стихи «женоподобным сентиментальным рифмоплетством». Хотя мне понравились некоторые, поэтому я нахожу его суждение слишком строгим. Возможно, какие-то стихотворения и ему пришлись по душе. Когда я прочла эти письма, то решила, что пришло время определиться с твоим будущим.

– Меня не волнуют суждения Генриха, – сказал Томас. –

Он не литературный критик.

– Нет, но его суждения подсказали мне решение.

Томас устался в ковер.

– И мы связались с герром Шпинелем, который был добрым приятелем твоего отца. Некогда он возглавлял солидную страховую контору в Любеке. Ныне у него еще более уважаемая контора в Мюнхене. Это достойное место, и, если будешь стараться, карьера тебе обеспечена. Я не стала рассказывать герру Шпинелю о твоих школьных оценках. Он верит, что ты окажешься достойным сыном своего отца.

– Ты выделила Генриху содержание, – сказал Томас. – Ты оплатила публикацию его первой книги.

– Генрих всерьез занимается литературой. Его все хвалят.

– Я тоже намерен посвятить свою жизнь литературе.

– Я не советовала бы тебе продолжать твои литературные опыты. Из отчетов твоих учителей я знаю, что ты не способен ни на чем сосредоточиться. И я не стала бы делиться с тобой суждениями твоего брата по поводу твоих сочинений, если бы не желание тебя отрезвить. Служба в страховой конторе сделает тебя более уравновешенным. А теперь нам следует пойти к портному, чтобы сшить приличный пиджак, который впечатлит герра Шпинеля. Надо было сделать это сразу по приезде.

– Я не хочу служить в страховой конторе.

– Боюсь, что твои опекуны уже приняли решение и они не отступятся. Это моя вина. Я была с тобой недостаточно

строга. Я не знала, что делать с твоими школьными оценками, поэтому пустила все на самотек. Но когда их увидели твои опекуны, они взяли дело в свои руки. Я могла бы воспротивиться, если бы не твои стихи.

Его мать пересекла маленькую гостиную и снова уселась за рояль. Он смотрел на ее изящную шею, узкие плечи, осиную талию. Юлии было всего сорок четыре. До сих пор она всегда была добра к нему и слишком поглощена иными заботами, чтобы толком в него всмотреться или испытать раздражение. Юлия говорила с ним тем официальным холодным тоном, который всегда осуждала в других. Она пыталась подражать его опекунам, его отцу. Вероятно, долго это настроение не продлится и скоро его мать снова станет собой, но в эту минуту Томас не видел возможности на нее повлиять. И он не мог смириться с тем, что Генрих, которому он доверился, предал его, что брат так цинично и грубо отозвался о его сочинениях.

Мать вернулась к своему Шопену, постепенно наращивая звук, и Томас порадовался, что не видит ее лица. Еще больше его радовало, что мать не могла видеть его лица, на котором отражались не самые лучшие чувства к ней и брату.



## Глава 3

### Мюнхен, 1893 год

Каждый день, проведенный у Шпинеля, был ужасен. Работа, которую ему дали, была способна изнурить любого. Томасу поручили переносить цифры из одного grossбуха в другой, который хранился в главной конторе.

Его оставили в покое, показав, где найти перья, чернила и промокательную бумагу. Проходя мимо стола, конторские служащие постарше приветствовали его. Казалось, им приятен вид юноши из хорошей семьи, который постигает азы пожарного страхования. Один из них, герр Гунеман, был особенно дружелюбен.

— Скоро вас повысят, — говорил он. — Это я вам говорю. Вы производите впечатление весьма толкового молодого человека. Нам повезло заполучить вас в контору.

Никто не проверял, насколько он продвинулся. Томас держал открытыми оба grossбуха, изображая, что работает. Поначалу он и впрямь переносил цифры из одной конторской книги в другую, но вскоре бросил. Если бы Томас сочинял стихи, то мог бы привлечь внимание коллег нахмуренными бровями или тем, что шевелит губами, проговаривая рифмы про себя, поэтому стихов он не сочинял, а писал рассказ. Он спокойно работал над рассказом, и воображаемая жизнь так

увлекла его, что вскоре он пришел в отличное расположение духа и даже мать поверила, что в страховой конторе его ждет прекрасное будущее.

Томасу доставляло удовольствие нарушать правила, бросать вызов своим нанимателям и опекунам. Идя в контору, он больше не испытывал ужаса. Однако бывали дни, когда ему было трудно досидеть положенные часы, он задыхался и не знал, как дотянуть до вечера.

Томас знал, что матери не по душе его шатания по мюнхенским улицам и одинокие бдения в кафе. Уж лучше бы выпивал в веселой компании, думала Юлия.

– Кого ты высматриваешь на улицах? – спрашивала она.

– Никого. Всех.

– Когда Генрих гостит у нас, он никогда не выходит из дома.

– Он образцовый сын.

– Но ради чего ты бродишь по улицам?

Он улыбался:

– Просто так.

Природная застенчивость мешала Томасу отвечать матери с уверенностью и апломбом Генриха. По ночам он думал, что, если завтра же не возьмется за переписывание цифр, в конторе поймут, что он отлынивает от работы. Однако он продолжал писать, наслаждаясь тем, что бумаги и чернил вдоволь, и тем, что можно с утра до вечера переписывать одну сцену. Его рассказ приняли в журнал, но он не стал нико-

му говорить, надеясь, что, когда журнал выйдет, публикация не пройдет незамеченной.

Иногда он ловил на себе пристальный взгляд герра Гунемана, который тут же отводил глаза, словно в чем-то его подозревал. Седоватые волосы герра Гунемана стояли ежиком, у него было вытянутое худощавое лицо и темно-синие глаза. Томаса раздражала его назойливость, однако, удерживая его взгляд и заставляя герра Гунемана отводить глаза, он ощущал над ним странную власть. Томас видел, что эти маленькие происшествия, эти переглядывания были по какой-то причине важны для его коллеги.

Однажды утром герр Гунеман подошел к его столу.

– Всем не терпится знать, как продвигаются ваши труды, – промолвил он доверительным тоном. – Скоро начальство устроит вам проверку, поэтому я решил взглянуть сам. А вы, мелкий пакостник, только и знаете, что бездельничать. И хуже того, я заметил листы бумаги, которые вы прячете под конторскими книгами. Что бы это ни было, это не то, чем вам поручено заниматься. Другое дело, если бы вы не справлялись.

Он потер руки и придвинулся ближе к Томасу.

– Возможно, я ошибся, – продолжил герр Гунеман, – и вы переписываете цифры в другой grossbux, которого нет на столе. Это так? Что юный герр Манн может сказать в свое оправдание?

– Что вы намерены делать? – спросил Томас.

Герр Гунеман улыбнулся.

На какое-то мгновение Томас решил, что этот человек решил помочь ему, что он сохранит в тайне его нерадивость, но лицо коллеги помрачнело, а челюсть сжалась.

– Я намерен на вас донести, мальчик мой, – прошептал герр Гунеман. – Что вы на это скажете?

Томас заложил руки за шею и улыбнулся:

– Так чего вы медлите?

Вернувшись домой, Томас обнаружил в коридоре саквояж Генриха, а его самого в гостиной.

– Меня отослали домой, – сообщил он Юлии на ее вопрос, почему он не в конторе.

– Ты заболел?

– Нет, меня раскрыли. Вместо того чтобы делать то, что мне было поручено, я сочинял рассказ. А вот письмо от Альберта Лангена, издателя журнала «Симплициссимус», который принял мой рассказ для публикации. И его мнение значит для меня больше, чем блестящая карьера в страховой конторе.

Генрих захотел прочесть письмо.

– Альберт Ланген – один из самых уважаемых издателей, – заметил он. – Большинство молодых писателей, и не только молодых, многое бы отдали за такое письмо. Но это не дает тебе права бросать работу.

– А разве ты мой опекун? – спросил Томас.

– Определенно, ты нуждаешься в опекуне, – сказала

мать. – Кто разрешил тебе уйти с работы?

– Я туда больше не вернусь, – ответил Томас. – Я намерен писать рассказы и еще роман. Если Генрих собирается в Италию, я хотел бы поехать вместе с ним.

– Но что на это скажут твои опекуны?

– Скоро я освобожусь от их опеки.

– А на что ты будешь жить? – спросила мать.

Томас заложил руки за голову, как уже проделал с герром Гунеманом, и улыбнулся Юлии:

– Обращусь к тебе.

Понадобилась неделя уговоров и обид, чтобы убедить Генриха занять его сторону.

– Как я объясню это опекунам? – спрашивала мать. – Должно быть, кто-нибудь из конторы Шпинеля уже доложил им о твоём уходе.

– Скажи, что у меня чахотка, – предложил Томас.

– Или ничего не говори, – добавил Генрих.

– Похоже, вы оба не понимаете, что, если я промолчу, они могут урезать мое содержание.

– Тогда болезнь, – сказал Генрих. – Томасу необходимо поправить здоровье в Италии.

Юлия покачала головой.

– Нельзя относиться к болезням с таким легкомыслием, – сказала она. – Я думаю, ты должен вернуться в контору, принести извинения и приступить к работе.

– Я туда не вернусь, – промолвил Томас.

Томас видел, что в глубине души мать смирилась с тем, что он не вернется к Шпинелю, и теперь вместе с Генрихом они пытались уговорить ее выделить Томасу содержание. Потерпев неудачу, он обратился к сестрам:

– Разве правильно держать меня в черном теле?

– А чем ты намерен заняться? – спросила Лула.

– Я буду писать книги, как Генрих.

– Никто из моих знакомых книг не читает.

– Если ты мне поможешь сейчас, я обещаю помочь тебе, если когда-нибудь у тебя возникнет непонимание с матерью.

– А мне? – спросила Карла.

– Вам обеим.

И сестры заявили Юлии, что иметь в семье двух писателей весьма престижно. Их начнут приглашать в лучшие дома Мюнхена.

В конце концов Юлия сказала Томасу, что не возражает против его поездки в Италию.

Она написала опекунам, что следует совету врачей. Тон ее письма был тверд и решителен.

– Единственное, что меня беспокоит, – это обычай итальянцев разгуливать по ночам. Хватит с нас этого. До сих пор не возьму в толк, что ты забыл на улицах. Генриху придется пообещать мне, что ты будешь рано ложиться.

Братья строили планы о путешествии на юг, и Генрих при-

знался, сколько усилий ему стоило уговорить мать. Он сказал ей, что восхищается стихами брата. Томас сухо его поблагодарил.

Томасу нравилась идея путешествовать вместе с тем, кому не до конца доверяешь. Он не станет сдерживаться. Они с Генрихом будут обсуждать литературу, даже политику, возможно, музыку, но, памятуя о власти, которую имели над ним мать и брат, Томас никогда не признается Генриху в том, что когда-нибудь может быть использовано против него. Ему очень не хотелось возвращаться обратно в страховую контору.

Избегая соотечественников, первым делом они посетили Неаполь, затем почтовой каретой перебрались в Палестрину, город на холме к востоку от Рима. Вдоль дорог росли шелковица, оливы и винные лозы, каменные стены разделяли вспаханные поля. Они поселились в Каса-Бернардини, где Генрих уже останавливался. Это было прочное строгое здание на узкой улочке, сбегаящей вниз с холма.

У каждого была своя спальня. В общей гостиной с каменным полом, уставленной плетеными креслами и диванами, набитыми конским волосом, стояли два стола, за которыми они, словно два отшельника или конторских служащих, могли корпеть над своими сочинениями, развернувшись друг к другу спиной.

Хозяйка, которую звали Неллой, заправляла на большой кухне этажом выше. Она поведала братьям, что до них тут

жил русский аристократ, одержимый блуждающими духами.

– Я рада, – сказала Нелла, – что он увез их с собой. У нас в Палестрине хватает своих духов, чужие нам без надобности.

В Неаполе Томасу не спалось. В спальне стояла жара, будоражили впечатления от дневных прогулок. Когда однажды утром их с братом стал преследовать какой-то юноша, он решил, что слишком чопорная и богатая одежда выделяет их из толпы. Молодой человек прошептал что-то на английском, затем, подойдя ближе, перешел на немецкий. Он предлагал девочек. Когда братья ускорили шаг, желая поскорее от него отделаться, он догнал Томаса, взял его за руку и прошептал, что у него есть не только девочки. Тон у него был льстивый и вкрадчивый. Юноша явно произносил эту фразу не впервые.

Они оторвались от преследователя, выйдя на оживленную улицу, и Генрих толкнул Томаса локтем:

– Лучше выходить в темноте и одному. Он нас разыгрывал. Такие дела не делаются среди бела дня.

Казалось, Генрих знает, о чем говорит, однако Томас сомневался, а не бравада ли это? Разглядывая убогие дома на узких улочках, Томас спрашивал себя, неужели в этих темных комнатах и впрямь торгуют собой? Разглядывая лица, в том числе молодых мужчин, свежие, отмеченные поразительной красотой, он думал: неужели они или подобные им с наступлением темноты выставляют себя на продажу?

Он представлял, как ночью проскальзывает мимо комнаты Генриха. Мысленно рисовал картины пустых улиц, зло-



воние, бродячих собак, голоса доносятся из окон и дверей, в темных углах маячат тени. Он воображал, как пытается объяснить этим людям, чего он хочет.

– Похоже, ты что-то замышляешь, – заметил Генрих, когда они проходили большую площадь с церковью.

– Не могу привыкнуть к новым запахам, – ответил Томас. – Ищу слова, чтобы их описать.

Атмосфера Неаполя наполняла его дневные часы, проникала в его сны. Даже трудясь над новыми рассказами и слыша, как за соседним столом скрипит перо Генриха, он ощущал вдохновение, рисуя то, что могло бы случиться в одну из этих ночей. Он воображал себя в комнате с ветхой мебелью и потертым ковром на полу, с лампой, которая отбрасывает желтоватый свет. В комнату с деловым видом входит молодой человек в пиджаке и галстук, тихо закрывает за собой дверь. У него блестящие черные волосы, черные глаза, решительные черты. Не говоря ни слова и не глядя на Томаса, молодой человек начинает раздеваться.

Пытаясь прогнать эти мысли, заключая с собой соглашение, что вернется к ним, дописав очередной эпизод, Томас снова брался за перо, сознавая, что яркость его фантазий оставляет след в каждой сцене, которую он сочинил. Когда Генрих переставал писать, он чувствовал, что должен заполнить пустоту, и принимался строчить с удвоенной силой. Завершив сцену, он бесшумно вставал из-за стола, успевая заметить, как Генрих прячет какие-то листы под записную

книжку.

Позже, когда Генрих ушел прогуляться, Томас поднял его записную книжку и обнаружил под ней несколько рисунков обнаженных женщин. Женские ноги и руки, иногда ладони и ступни. Были рисунки женщин с сигаретой или бокалом вина. Но все без исключения модели отличались массивными бюстами с тщательно прорисованными сосками.

Как странно, думал Томас, что мы оба, трудясь над своими сочинениями, держим в уме нечто, подстегивающее воображение. Интересно, заключая сделки, посещая банк или занимаясь поисками деловых партнеров, думал ли отец о чем-то интимном, о том, что заставляло его пульс биться чаще?

Порой, когда Генрих отправлялся на прогулку, Томас хотел к нему присоединиться, но он знал, что брат нуждается в уединении еще больше, чем он, или просто слишком чувствителен к тому впечатлению, которое производили двое одиноких молодых холостяков.

У их квартирной хозяйки были два похожих брата, но уже преклонных лет. Иногда они приходили по вечерам в гости, посидеть на кухне с сестрой, или заходили после воскресной мессы. Томас сознавал, как странно они выглядят даже там, где к ним давно привыкли. Братья не были женаты, не были одиноки и без конца бранились друг с другом. Некогда один из них был адвокатом, и причина, по которой ему пришлось оставить практику, не оглашалась. О ней часто упо-

минал его брат, которому немедленно затыкала рот сестра, квартирная хозяйка Генриха и Томаса. Один из братьев был суеверен, в то время как другой, бывший адвокат, отвергал любые предрассудки. Когда суеверный брат лукаво сообщал Томасу и Генриху, что мужчина, завидев священника, должен приложить правую руку к яичкам, другой брат решительно возражал:

– Не вздумайте заниматься такой ерундой. Наша единственная обязанность – вести себя разумно. Для этого нам и даны мозги.

Томас гадал, не выглядят ли они с Генрихом бледной копией этой парочки. Если доживешь до средних лет, сходство станет более явным. По мнению Томаса, они с Генрихом держались вместе только потому, что так было проще уговорить мать раскошелиться, пересказав несколько дорожных анекдотов и упирая на важность путешествий для карьеры писателя.

Только однажды за время их совместной поездки братья Манн поссорились. Генрих высказал мысль, которая оказалась совершенно новой для Томаса: брат настаивал, что объединение Германии было ошибкой и послужило лишь укреплению прусского господства.

– Они просто захватили власть, – сказал он, – прикрываясь словами о прогрессе.

Для Томаса объединение Германии, которое случилось в год рождения Генриха и за четыре года до его рождения,

было неоспоримым благом. Разве можно было сомневаться в его важности? Идея вызревала давно, и наконец то, что давно было очевидным, обрело официальный статус. Германия стала единой нацией. Германия говорила на одном языке.

– Ты думаешь, Бавария и Любек – части одной нации? – спросил Генрих.

– Да, – ответил Томас.

– Твоя так называемая Германия состоит из противоположностей. С одной стороны, все, что касается чувств: язык, люди, сказки, девственные леса, – славное прошлое. Сплошные нелепости. С другой стороны, деньги и власть. Для того чтобы замаскировать неподдельную жадность и безудержное честолюбие, мы используем язык грез. Природную прусскую жадность. Безудержное прусское честолюбие. И когда-нибудь это плохо кончится.

– Выходит, объединение Италии – тоже зло?

– Нет, только Германии. Пруссия захватила господство военным путем. В Пруссии управляют военные. Итальянская армия – не более чем шутка. Шутить с прусской армией себе дороже.

– Германия – великая современная нация.

– Ты говоришь ерунду. И не в первый раз. Ты веришь всему, что слышишь. Ты – юный поэт, горящий об утраченной любви. Но ты родом из страны, которая стремится завоевывать и подавлять. Ты должен учиться думать. Ты никогда не станешь писателем, если не научишься думать своей го-

ловой. Толстой умел думать. Бальзак умел. Какое несчастье, что ты на это не способен.

Томас встал и вышел из комнаты. В последующие дни он пытался придумать аргументы, которые доказывали бы неправоту Генриха. Ему не давала покоя мысль, что Генрих проверял на нем свои доводы, в глубине души думая совсем иначе. Возможно, он спорил ради самого спора. Раньше Томас никогда не слышал из уст Генриха таких суждений.

Палаццо Барберини, громадная махина казарменного вида, возвышалась над городом. Не сказав Генриху, Томас отправился поглазеть на нильскую мозаику второго века до Рождества Христова, о которой писали в путеводителях. При виде него женщина в дверях выразила удивление и меланхоличным тоном сообщила время закрытия. Она направила Томаса к мозаике, рядом с которой маялся молодой охранник в старой форме.

Больше всего Томаса поразили блеклые тона, вероятно потускневшие от времени, серость и размытая синева, цвет сланца и грязи.

Размытый свет над Нилом заставил его вспомнить любекские доки: ветер гонит по небу тучи, отец говорит, можешь побегать между тумбами, только не заходи за канаты и держись подальше от воды.

Отец обсуждал со своим конторщиком суда, грузы и расписание. Первые дождевые капли заставили мужчин поднять глаза к небу и вытянуть ладони: уж не собирается ли небо

обрушиться ливнем?

И тут что-то случилось. Внезапно Томас увидел роман, который задумал давно, во всей полноте. Для него он придумает себя заново – его герой станет единственным сыном в семье; мать превратит в хрупкую и одержимую музыкой наследницу старого немецкого рода, а тете Элизабет придаст черты другой героини, непостоянной и изменчивой. Героем романа будет не человек, а семья. Расчетливая самоуверенность, присущая Любеку, станет фоном семейной драмы, но семейное дело будет обречено, как и единственный наследник.

Подобно мозаисту, придумавшему прозрачный мир, омытый тучами и отраженным светом, в своем романе Томас воссоздаст Любек. Проникнется духом отца, матери, бабушки, тети и, соединив их, прочертит линию заката их судеб.

Вернувшись в Мюнхен, Томас начал составлять план романа «Будденброки». Он часто виделся с Генрихом, но редко упоминал о романе, однако делился с братом рассказами, которые должны были скоро выйти отдельной книгой. Он пытался сосредоточиться на работе, но Мюнхен его расхолаживал. Он слишком много гулял, читал слишком много газет и литературных журналов, возвращаясь домой слишком поздно. Томас должен был найти место, где мог полностью отдаться роману, и на этой ранней стадии не испытывал соблазна делиться с кем-либо своими замыслами.

Он уехал в Рим, где приступил к работе всерьез. Там он никого не знал, поэтому оказался предоставлен самому себе. Наверняка где-то здесь тоже собирались молодые писатели, но он не испытывал желания к ним присоединиться. Томас передвинул стол к окну маленькой комнаты и придумал правило: после получаса работы прилечь на десять минут. Работать он начинал, как только просыпался.

Воспоминания о Любеке были обрывочными и порой не срастались в единую картину. Жизнь разлетелась вдребезги, и ему достались только осколки. Приступая к написанию новой сцены, он соединял их, снова делая мир цельным. Жизнь Маннов в Любеке скоро забудется, но, если его книгу, которая все разрасталась и удлинялась, ждал успех, жизнь Будденброков продлится.

Ко времени возвращения в Мюнхен он дописал несколько первых глав.

Их с Генрихом труды уже были опубликованы, и ничто не мешало братьям присоединиться к писательскому сообществу в любом из литературных кафе Мюнхена. Постепенно их начали узнавать и не чурались их общества. Теперь Томас сиживал за теми самыми столиками в тех самых компаниях, за которыми год назад наблюдал со стороны.

Вскоре Томас нашел работу в журнале на полставки, и это позволило ему снять маленькую квартиру. Он часто засиживался за работой до поздней ночи. Однажды вечером – к тому времени Томасу исполнилось двадцать три, и его роман

был наполовину дописан – он оказался в компании двух молодых людей, которых прежде не встречал. Хотя они и были братьями, но не испытывали ни малейшего смущения в обществе друг друга и говорили с такой теплотой, словно приходились друг другу коллегами или закадычными друзьями. Это были Пауль Эренберг и его брат Карл, оба музыканты. Карл учился в Кёльне, а Пауль, который изучал еще и живопись, – в Мюнхене.

Томасу нравилось, как естественно братья меняли тон разговора. Их поведение отличалось экстравагантностью. Они выросли в Дрездене и время от времени начинали беседовать, словно старые бюргеры или крестьяне, которые привезли в город на продажу поросенка и телегу продуктов. Томас пытался вообразить, как они с братом изображают жителей Любека, но сильно сомневался, что эта идея позабавит Генриха.

Томас совершил ошибку, представив Пауля семье и обнаружив, что тот не прочь приударить за Лулой, а его мать готова хоть каждый вечер принимать его в своей гостиной.

Порой разговоры с Паулем были достаточно откровенными. Они оба признавали, что мужская сексуальность неоднозначна и может принимать разные обличья. Приятели не выпячивали этого факта, но и не скрывали, что их влечет одна страсть. И когда они соглашались, что приличная женщина никогда не сравнится с развязной, не говоря об уличной девке, Томас знал, что, поскольку на внимание женщин из



хороших семей им рассчитывать не приходилось, на самом деле они говорили о другом.

Они начали встречаться в кафе, куда редко заходили их приятели из литературного и художественного мира, выбирая столик в глубине зала, подальше от ярких витрин. Они не испытывали потребности в разговорах и могли просто молча сидеть, переживая невысказанные мысли, ловя взгляды друг друга и не сразу отводя глаза.

Пауль – единственный, кому Томас рассказывал о своем романе. Все началось с шутки, когда он признался Паулю, сколько страниц успел написать, а конца еще не видеть.

– Никто этого не прочтет, – сказал он. – Никто этого не опубликует.

– Почему бы тебе не сделать роман короче? – спросил Пауль.

– Потому что каждая сцена важна. Это история упадка. Для того чтобы показать его глубину, я должен изобразить семью в самом расцвете.

Томас старался не слишком откровенничать насчет своего творения, его устраивала роль безумца, сочиняющего на чердаке роман, исполненный самых диких амбиций и начисто лишенный здравого смысла. Он знал, Пауль не сомневается в серьезности его намерений, однако приятель находил разговоры о романе утомительными.

Однажды вечером Томасу стало окончательно ясно, что упоминания о его романе только раздражают Пауля.

– Сегодня я убил себя, – сказал Томас. – Писал всю ночь. Еще осталось кое-что исправить, но в целом сцена завершена. Подробности я нашел в учебнике по медицине.

– Люди догадаются, что это ты?

– Да. Я мальчик Ганно, и я умер от тифа.

– Зачем ты его убил?

– Семейству пришел конец. Ганно был последним.

– Совсем никого не осталось?

– Только его мать.

Пауль неловко замолчал. Томас понимал, что разговоры о романе скоро окончательно наскучат приятелю.

– Я успел его полюбить, – продолжил он, – его деликатность, любовь к музыке, одиночество и страдания. Я понимал все его тайные струны, потому что он – это я. Я ощущал над ним странную власть и не хотел, чтобы он выжил, словно наблюдал за собственной смертью, приближая ее фразу за фразой, проживая смерть как чувственное переживание.

– Чувственное?

– Так мне казалось во время работы.

Понимая, как много значат для Томаса, завершавшего свой роман, их встречи, Пауль принялся мучить его, резко меняя планы или перенося назначенные свидания. Пауль чувствовал над ним свою власть. Он то притягивал Томаса к себе, то без предупреждения ослаблял натяжение.

Получив известие, что его роман будет опубликован в

двух томах, Томас ощутил непреодолимое желание поделиться новостью с Паулем. Он зашел к нему домой, потом в мастерскую, везде оставляя записки. Затем отправился бродить по кафе, но было слишком рано. Нашел он Пауля только после ужина в окружении коллег-художников. Сев рядом, Томас попытался начать разговор, но Пауль ему не ответил, вместо этого принялся изображать какого-то старого профессора, читавшего лекцию о светотени.

– Чтобы получить тень, нужно смешать серый и коричневый, после чего добавить немного синего, – говорил Пауль. – Но смесь должна быть правильной. Неправильная смесь дает неправильную тень.

Разговор продолжался, и Томас обернулся к Паулю, который сидел через два стула от него.

– Мой роман приняли к публикации, – сказал он.

Пауль туманно улыбнулся и обратился к юноше, который сидел с другой стороны. На протяжении следующего часа Томас пытался привлечь внимание друга, но Пауль продолжал передразнивать других и перешучиваться с коллегами. Он даже изобразил крестьянина, который продает поле соседу. Пауль избегал смотреть Томасу в глаза. Наконец Томас решил уйти, надеясь, что Пауль последует за ним, но, так и не дождавшись его, вернулся домой.

Когда роман вышел, некоторые сочли его выдающимся достижением литературы. Однако Любек был оскорблен. Те-

тя Элизабет выразила свое неприятие книги в резком письме его матери.

«Меня узнают на улицах, принимая за эту ужасную женщину из книги. Ему следовало прежде спросить разрешения. Это убило бы матушку, будь она жива. Да как он посмел, этот щенок, твой сын».

Генрих, который жил в Берлине, никак не отозвался о его романе, и Томас даже решил, что его письмо не дошло. Его мать показывала «Будденброков» всем гостям, настаивая на том, что ей нравится собственный портрет, нарисованный сыном.

– В книге я очень музыкальна. Разумеется, этого у меня не отнять, но я не обладаю талантом и усидчивостью героини. Чтобы играть, как Герда, мне пришлось бы заниматься куда прилежнее. Однако я умнее ее, во всяком случае, все так говорят.

В литературных кафе сочли, что очередной роман о вырождающемся семействе – не то, в чем сейчас нуждается Мюнхен. Томас жаловался Паулю, который открыто восхищался романом, что куда благосклоннее публика приняла бы сборник сбивчивых виршей, раскрывающих темную сторону человеческой души.

Его сестры желали знать, почему их нет в его романе.

– Люди решат, что нас не существует, – сказала Карла.

– А я надеюсь, никто не станет нас сравнивать с этим ужасным малышом Ганно, – добавила Лула. – Мама говорит, он

вылитый ты.

Томас видел, что, хотя книга была основана на жизни семейства Манн из Любека, этим она не исчерпывалась, было в ней что-то, ему неподвластное. Некое волшебство, нечто, что будет нелегко повторить. Похвалы, которые Томас получал, заставляли его надеяться, что успех книги заставит людей забыть о его неудачах в других сферах жизни.

Он вел себя осторожно. Ни разу не признался Паулю, чего на самом деле от него хочет. Но время шло, и в нем крепло чувство, что их отношения скоро изменятся. Если бы Пауль заглянул к нему в один из этих зимних вечеров на час-другой, все стало бы иначе.

Однажды вечером, потеряв терпение и утратив осторожность, которая только его и спасала, Томас написал Паулю, как страстно желает, чтобы кто-нибудь ответил ему согласием. Отправив письмо, он ощутил душевный подъем, но длился он недолго. Когда они встретились в следующий раз, Пауль даже не упомянул о письме. Улыбнувшись, он дотронулся до руки Томаса и заговорил о живописи и музыке. В конце вечера он приобнял его, прижал к себе и прошептал несколько нежных слов, словно они уже были любовниками. Уж не разыгрывает ли он меня, подумал Томас.

Утром он задал себе трезвый вопрос: чего он хочет от Пауля? Ночи любви, в которую они отдадутся своим желаниям? Мысль о том, чтобы переспать с другим мужчиной, проснуться в его объятиях, ощутить прикосновение его ног,

была отвратительна Томасу.

Он хотел, чтобы Пауль неожиданно возник в свете лампы в его кабинете. Хотел дотронуться до его рук, его губ, помочь ему снять одежду.

Но больше всего на свете Томас желал пережить томительные мгновения перед тем, как случится то, что должно случиться.

Томас ждал приезда Генриха. Поначалу он решил не спрашивать у матери, не поделился ли с ней его старший брат мнением о вышедшем романе. Однако не удержался и тут же об этом пожалел.

– Я получила от него несколько писем, – ответила мать. – Кажется, он был очень занят, поэтому ни разу не упомянул о твоей книге. Скоро он приедет и сам обо всем расскажет.

Томас думал, что после ужина, когда остальные отправятся спать, Генрих захочет наедине обсудить с ним роман. Позже, когда Генрих с Лулой уединились в гостиной, чтобы посекретничать, его так и подмывало поднять эту тему, но эти двое были так увлечены беседой, что он не решился их прервать. Решив наконец, что на сегодня с него довольно собственного семейства, он отправился к себе на квартиру.

Томас успел смириться с тем, что не дождется от брата похвалы. Однако, воскресным утром заглянув к матери, он обнаружил Генриха в одиночестве – остальные ушли в церковь. Обсудив привычки журнальных редакторов, они замолчали.

Генрих начал листать журнал.

– Такое ощущение, что ты не получал моей книги, – сказал Томас.

– Я прочел ее и собираюсь перечитать. Может быть, обсудим уже тогда?

– А почему не сейчас?

– Эта книга изменила историю нашей семьи, – то, как люди будут отныне воспринимать наших отца и мать. Как они воспринимают тебя. И где бы мы ни были, люди будут думать, что они нас знают.

– Тебе бы хотелось самому ее написать?

– Я считаю, роман не должен вторгаться в частную жизнь так грубо.

– А как насчет «Госпожи Бовари»?

– Это книга об эволюции нравов, об изменениях, которые происходят в обществе.

– А моя?

– Возможно. Кто знает. Но у читателей не должно возникать чувства, будто они подглядывают через окно.

– Возможно, это лучшее определение для романа.

– В таком случае ты создал шедевр. Едва ли следует удивляться, что ты уже так знаменит.

Когда вышло второе издание, у Томаса появились свободные деньги. Поскольку Карла собиралась стать актрисой, Томас часто покупал им билеты в оперу и театр. Однажды, ко-

гда они сидели в первом ряду ложи, сестра привлекла его внимание к семейству, которое шумно рассаживалось в ложе напротив.

– Это дети с картины, – сказала Карла. – Смотри!

Томас ее не понял.

– В костюмах Пьеро, – объяснила сестра, – помнишь, в том журнале? Ты вырезал картинку и повесил на стене своей спальни в Любеке. Это Прингсхаймы. Никто не удостоивается приглашения в их дом. Чтобы попасть туда, ты должен быть самым Густавом Малером.

Он вспомнил картину, изображавшую группу детей – мальчики и одна девочка, – напечатанную в журнале, который однажды купила мать. Вспомнил черные волосы девочки, ее большие выразительные глаза и неброскую красоту ее братьев. Однако самое сильное впечатление на него произвел их гламурный вид и исполненный безмятежности и юношеского презрения взгляд. Никто в Любеке, разве что его мать, не умел так смотреть.

Поскольку Юлия еще при жизни отца неоднократно выражала желание посетить Мюнхен и вкусить беспечных нравов богемы, он в знак солидарности приклеил картинку к стене. С такой компанией он хотел водиться, когда станет взрослым, таким людям хотел подражать.

Пока семейство Прингсхайм устраивалось в ложе, он внимательно за ними наблюдал. Сестра и братья уселись впереди, родители заняли места за их спинами, что само по се-



бе было необычно. Девушка держалась с большим достоинством, но выглядела замкнутой и даже печальной. Когда брат что-то шептал ей на ухо, она не отвечала. Ее волосы были подстрижены очень коротко. По сравнению с девочкой на портрете она изменилась, но все еще сохраняла какую-то ребячливость. Когда брат в очередной раз что-то прошептал ей на ухо, она тряхнула головой, давая ему понять, что вовсе не находит его остроту забавной. Затем с озабоченным видом обернулась к родителям. После того как погас свет, Томас принялся ждать антракта, чтобы продолжить наблюдения.

– Они сказочно богаты, – заметила Карла. – Отец у них профессор, но у семьи есть и другие деньги.

– Они евреи? – спросил Томас.

– Не знаю, – ответила сестра. – Скорее всего. Их дом похож на музей. Впрочем, меня туда не приглашали.

В последовавшие месяцы, если давали Вагнера, Прингсхаймы неизменно сидели в ложе; они также посещали концерты современной и экспериментальной музыки. Томас не стеснялся разглядывать девушку. Все равно им не свести знакомства, так какая разница, что она о нем подумает?

Чем большее количество людей читало его книгу, тем чаще его узнавали на концертах, в театрах, в кафе и на улицах. Как-то раз на концерте девушка дала ему понять, что от нее не укрылось его внимание. Она открыто и смело ответила на его взгляд. Томас понял, что и брат заметил его интерес.

Однажды вечером Томас разговорился за столиком кафе с

одним малознакомым поэтом. Хрупкий и застенчивый юноша запинаясь и шурился, разглядывая меню.

– Мои друзья все время о вас говорят, – сказал молодой поэт.

– Они прочли мою книгу? – спросил Томас.

– Им нравится, как вы смотрите на них на концертах. Они зовут вас Ганно, по имени героя вашего романа, того, который умер.

Томас понял, что поэт говорит о той самой девушке, о брате и сестре Прингсхаймах.

– Как ее зовут?

– Катя.

– А брата?

– Клаус. Они близнецы. У них есть еще трое старших братьев.

– И чем близнец занимается?

– Музыкой. У него талант. Он учился у самого Малера. Но и Катя не лишена таланта.

– К музыке?

– К наукам. Ее отец – математик и страстный почитатель Вагнера. Катя очень образованная девушка.

– Нельзя ли свести с ними знакомство?

– Катя с братом обожают вашу книгу. И они думают, что вы очень одиноки.

– Почему?

– Потому что они разглядывают вас в ответ. Может быть,

даже пристальнее, чем вы их. Они постоянно о вас говорят.

– Я должен гордиться?

– Я бы гордился.

– О вас они тоже говорят?

– Нет. Я всего лишь бедный поэт. Моя тетя бывает в их доме на Арсиштрассе. У них великолепный дом. Я познакомился с ними из-за тети, она художница, а они собирают ее картины.

– Думаете, я тоже могу свести с ними знакомство?

– Может быть, они пригласят вас на прием. Они не ходят по кафе.

– Когда?

– Скоро. Скоро они дают званый ужин.

Заглядывая к матери, Томас неизменно заставлял вольготно расположившихся там господ, которых в былые времена Манны не пустили бы на порог. Генрих беспокоился о репутации сестер, и Томас разделял его беспокойство. Поэтому братья нередко обсуждали между собой падение стандартов в материнской гостиной – тему, позволявшую им ощущать себя мужчинами, умудренными опытом и пекущимися о соблюдении приличий, словно над ними нависала тень отца, поощряя почитать богов респектабельности.

Среди господ, которых принимала их мать, был некий банкир по имени Йозеф Лёр. Гость представился Томасу, и он решил, что банкир ухаживает за Юлией, становящейся

все более бесплотной и эфемерной. Томас заметил, что у матери начали шататься зубы. Если она решила стать фрау Лёр, ей следует поторопиться.

Он удивился, узнав, что банкир претендует вовсе не на руку Юлии, а на руку ее дочери, его сестры Лулы, которая была на двадцать лет моложе Лёра. У Лулы не было ничего общего с этим заурядным буржуа. Пауль Эренберг замечал, что, даже если бы деньги падали с неба, люди, подобные Лёру, и тогда советовали бы крепко подумать, прежде чем их потратить. Лула, напротив, любила тратиться, обожала веселье и выходы в свет. Томас гадал, о чем Йозеф Лёр с Лулой будут беседовать долгими зимними вечерами.

Когда объявили о помолвке, Пауль расстроился – ему хотелось оставить их всех для себя, даже мать Томаса. Он любил с ними играть. Генрих, вернувшийся в Берлин, расстроился еще больше. Он написал матери письмо, в котором убеждал ее расторгнуть помолвку, настаивал, чтобы она отказала от дома всем приходящим господам, если не в состоянии блюсти честь дочерей. И не важно, что жених хорошо устроен. Он просто не подходит Луле. Этот Йозеф Лёр если не уморит ее своим занудством, то задушит придирами. При мысли о Луле, обустроивающей дом банкира, писал Генрих, ему становилось нехорошо.

Мать показала письмо Томасу.

– Он, видно, думает, будто хорошие женихи растут на деревьях, – сказала она.

– Генрих любит сестер.

– Жалко, что он не может жениться на одной из них. Или на обеих.

Возвращая письмо матери, Томас заметил, как она расстроена. Дело было не в чрезмерно яркой помаде и неестественном цвете волос – что-то новое появилось в глазах и голосе Юлии. Былой огонь погас, потушенный известием о помолвке дочери.

На первом званом ужине у Прингсхаймов, на который его пригласили, гостей было не менее сотни. Столы растянулись на несколько парадных комнат. В большинстве комнат были резные потолки, а стены украшали картины и фрески. Казалось, в доме нет ни одной пустой поверхности. Томас прибыл в компании нервного молодого поэта и его тетки-художницы, на шее и в волосах которой блестели драгоценные камни.

– Дети Прингсхаймов, особенно Клаус и Петер, – пример для юных мюнхенцев, – заявила тетя. – Они изысканны и хорошо воспитаны. И многого успели достичь.

Томасу захотелось подробнее расспросить об их достижениях, но, как только они избавились от пальто, тетя упорхнула, оставив двух молодых людей из полумрака наблюдать за тем, что происходило на сцене.

Когда Томасу удавалось поймать взгляд Кати Прингсхайм, он видел, что она ему рада, но не делает попыток обратиться к нему напрямую. По окончании ужина он попро-

сил молодого поэта представить его Кате и Клаусу, которые о чем-то увлеченно беседовали в дверях. Он видел, как Катя, улыбаясь, приложила пальчик к губам брата, запрещая ему говорить. Они должны были заметить приближение Томаса с молодым поэтом, но не обернулись. Поэт протянул руку и дотронулся до плеча Клауса.

Клаус взглянул на него, и Томаса поразила его красота. Он начинал понимать, почему таких, как он, не встретишь в кафе. Там на него глазели бы, раскрыв рот. Изящество его манер, сдержанность и опрятность слишком выделялись бы на фоне резкости и расхлябанности, принятых среди тамошних завсегдатаев.

Заметив, что, пока он разглядывал ее брата, Катя смотрела на него, Томас перевел глаза на девушку. Ее глаза были такими же темными, как у брата, кожа еще нежнее, а взгляд прямой и не робкий.

– В этом доме обожают вашу книгу, – сказал Клаус. – Честно говоря, мы из-за нее перессорились, потому что кто-то припрятал второй том.

Катя лениво потянулась. Томас отметил мальчишескую силу в ее теле.

- Я не стану называть вора по имени, – продолжил Клаус.
- Клаус, не будь занудой, – сказала Катя.
- Мы зовем вас Ганно, – сказал ее брат.
- Не все, – поправила Катя.
- Все, даже матушка, которая еще не дочитала.

– Нет, дочитала.

– В два пополудни еще нет.

– Я пересказала ей финал.

– Моей сестре нравится портить людям удовольствие.

Мне она пересказала «Валькирию».

– Меня опередил отец, пришлось тебя спасать – иначе он понял бы, что ты его не слушал.

– А наш брат Хайнц рассказал нам, чем кончается Библия, – сказал Клаус. – И этим все загубил.

– Не Хайнц, а Петер, – возразила Катя. – Он кошмарный. Отцу пришлось запретить ему бывать в обществе.

– Моя сестра во всем слушается отца, – сказал Клаус. – На самом деле он занимается с ней наукой.

Томас переводил взгляд с брата на сестру. Он чувствовал, что втайне они над ним посмеиваются или, по крайней мере, дают понять, что в их кругу им с молодым поэтом не место. Он знал, что дома вспомнит каждое слово. Когда он вырезал из журнала портрет Прингсхаймов, он воображал их мир именно таким: элегантные люди и богатые интерьеры, блестящие и непоследовательные диалоги. И не важно, что убранство комнат было слишком роскошным, а некоторые из гостей вели себя немного развязно, – лишь бы эти двое не запрещали ему слушать и смотреть на себя.

– О нет! – воскликнула Катя. – Матушка попала в тиски этой дамы, жены альтиста.

– Зачем ее пригласили? – спросил Клаус.

– Потому что ты, или отец, или Малер, или кто-то еще восхищается его игрой.

– Отец ничего не смыслит в игре на альте.

– Моя бабушка считает, что женщинам следует запретить выходить замуж, – сказала Катя. – Вообразите, как изменились бы эти комнаты, если бы к ее мнению прислушались.

– Моя бабушка – Хедвига Дом<sup>1</sup>, – сказал Клаус Томасу, словно доверяя ему секрет. – Весьма передовая особа.

Когда они уходили, молодой поэт сказал Томасу, что спросил у тетушки, не евреи ли Прингсхаймы?

– И что она ответила?

– Были евреями. С обеих сторон. Но это в прошлом. Теперь они протестанты, даже если выглядят как евреи. Еврейская белая кость.

– Сменили веру?

– Тетушка сказала, они ассимилировались.

Однажды вечером, когда Томас, засидевшийся в кафе с Паулем и его братом, подошел к своему дому, кто-то приблизился к нему сзади, пока он возился с ключом. Обернувшись, он увидел высокого, худощавого и немолодого мужчину в очках. Томас не сразу узнал герра Гунемана из страховой конторы Шпинеля.

---

<sup>1</sup> *Хедвига Дом* (1831–1919) – писательница и публицистка, видная феминистка, боролась за избирательное право для женщин, социальное и экономическое равенство между мужчинами и женщинами. (Здесь и далее примеч. перев.)



– Мне нужно с вами поговорить, – хрипло промолвил герр Гунеман.

Поначалу Томас решил, что герр Гунеман попал в беду, что на него напали и ограбили. Интересно, как он узнал его адрес. Улица была пуста. Он понимал, что ему придется пригласить герра Гунемана войти. Впрочем, дойдя до двери квартиры, Томас передумал.

– Вам обязательно говорить со мной сегодня? – спросил он.

– Да, – ответил герр Гунеман.

В квартире он предложил гостю снять пальто. Если он не ранен, подумал Томас, то скоро уйдет. Возможно, придется дать ему денег на дорогу.

– Я не сразу нашел ваш адрес, – сказал герр Гунеман, когда они уселись в маленькой гостиной. – Мне пришлось обратиться к вашему приятелю из кафе, сказав ему, что дело срочное.

Томас изумленно смотрел на него. Его седые волосы также стояли торчком. Однако в чертах лица сквозила какая-то деликатность, которой Томас не замечал прежде и которая становилась заметнее, когда гость замолкал.

– Я пришел попросить прощения, – сказал герр Гунеман.

Томас хотел поблагодарить его за то, что раскрыл его обман, но гость не дал ему сказать.

– У меня есть ключ от здания, и я имею доступ к кабинетам после закрытия. Я должен признаться, что готов был

ходить туда только ради того, чтобы прикасаться к стулу, на котором вы сидели. И это еще не все. Я хотел бы прижаться лицом к вашему стулу. Единственное, чего я желал днем, это чтобы вы меня заметили.

Томасу внезапно пришло в голову, что адрес ему мог дать Пауль Эренберг.

– Но что бы я ни делал, сколько бы раз ни проходил мимо вашего стола и ни заговаривал с вами, вы видели во мне лишь коллегу. И тогда, обнаружив, что вы пренебрегаете своими обязанностями, я решил отомстить. Вы должны меня простить. Я не засну, пока не получу вашего прощения.

– Я вас прощаю, – сказал Томас.

– И это все?

Когда герр Гунеман встал, Томас решил, что он собирается уходить. Он тоже встал. Герр Гунеман медленно потянулся к нему и поцеловал Томаса в губы. Поначалу это был невинный поцелуй, но вскоре Томас почувствовал во рту его язык, а под рубашкой его ладонь, которая несмело двинулась ниже. Дыхание герра Гунемана было свежим. Он ждал отклика, прежде чем продолжить.

То, что произошло между ними, казалось естественным, словно иначе и быть не могло. Герр Гунеман был опытнее Томаса, поэтому направлял и ободрял его. Сняв одежду, он стал нежен, уязвим, почти кроток, разительно отличаясь от себя одетого. Достигнув высшей точки наслаждения, он издал громкий всхлип, словно человек, одержимый демоном.

И только когда он ушел, Томас засомневался, что это была случайность. Гунеман с самого начала задумал его свратить, действовал умело и исподволь. Одевшись, Томас ощутил глубокое отвращение, которое должен был почувствовать раньше, когда намерения Гунемана стали ясны.

Он надел пальто. Улица была пуста. Гунеман растворился в ночи. Что бы ни случилось в будущем, решил Томас, ноги этого человека больше не будет в его доме. А если он снова появится, Томас сразу даст ему понять, что повторения не будет.

Он нашел тихое кафе, которое работало после полуночи, уселся в глубине зала и заказал кофе. Больше всего его встретила собственная реакция. Он хотел поцелуев и ласк, даже от Гунемана, который был для него всего лишь немолодым коллегой, который влез не в свое дело, раскрыв его обман.

Неужели Томас мог испытывать к нему хоть слабое желание? Неужели, когда постареет, он и сам будет жить надеждой, что кто-нибудь вроде Гунемана постучится к нему в дверь, заметив в гостиной свет? И неужели ему снова придется наблюдать, как гость торопливо натягивает одежду, не смея поднять глаз?

Возможно, ему суждено повстречать кого-нибудь вроде Пауля, который станет мучить его и играть его чувствами. Неужели ему суждено заслужить в Мюнхене или другом городе репутацию того, кто тайно принимает любовников по

ночам?

Томас встал, внезапно приняв решение. Его решимость была крепка, пока он шел домой, и стала только сильнее, когда он проснулся на следующее утро. Он сделает предложение Кате Прингсхайм. Если она откажет ему, он проявит настойчивость. Когда мысль о женитьбе на Кате пришла ему в голову, он ощутил неведомое раньше удовлетворение.

На какое-то время его предложение стало предметом самых бурных споров противоборствующих сторон. Бабушка Кати горячо воспротивилась самой идее замужества внучки, мать же, напротив, всецело одобряла эту партию. Отец Кати полагал, что, если замужества дочери не миновать, пусть это будет профессор, а не писатель.

В свою очередь, мать Томаса считала, что Катя избалована своей богатой семьей. Она выбрала бы для сына менее яркую и более покладистую девушку. Генрих, который снова путешествовал по Италии, писал брату в основном на литературные темы, зато сестры Томаса радовались, что Катя станет их невесткой.

Проводя время с Катей и Клаусом, Томас сознавал глубину пропасти, их разделявшей. Им было неведомо чувство потери. Никто не выгонял их с насиженного места. С детства никто не сомневался в их талантах, и они были вольны следовать за своим призванием. Если бы кто-то из них вообразил себя клоуном, ему с гордостью вручили бы фальшивый

нос и отправили на арену. Но они не собирались быть клоунами. Они были музыкантами и учеными, и каждый обладал собственным талантом. И каждому было суждено унаследовать состояние. Несмотря на присущую математикам рассеянность, их отцу удавалось превосходно управляться с деньгами, собственностью и акциями, унаследованными от отца. Он не раз давал понять Томасу, что считает дочь самой умной из своих детей. И если бы она согласилась пожертвовать всем ради науки, из нее вышел бы выдающийся ученый.

Разбираться в литературе, музыке и живописи было естественно для Прингсхаймов. Порой, пространно рассуждая о каком-нибудь писателе или его творении, Томас замечал, что Катя и Клаус тайком переглядываются. Как будто он кичился своей ученостью. Это было совершенно несвойственно Прингсхаймам. Им было некогда углубляться в суть.

Когда в письме он впервые предложил Кате руку и сердце, она ответила, что вполне довольна нынешним положением. Ей нравится заниматься наукой, писала Катя, а еще проводить время в кругу семьи, ездить на велосипеде и играть в теннис. Она подчеркивала: ей только двадцать один год и она на восемь лет его младше. Ей не нужен муж, а роль домохозяйки ее не прельщает.

Всякий раз при виде Кати Томас ощущал себя уязвимым. Она говорила мало, оставляя разговоры на долю брата. Клаус отказывался принимать его всерьез. К тому же с самого начала понимал, какое впечатление производит на Томаса и как

легко ему заставить поклонника сестры смотреть на себя, а не на Катю. Казалось, игра, которую вел Клаус, Катю забавляла.

У нее был детский почерк, а ее стиль отличался лаконичностью и простотой. Томас понимал, что единственным способом привлечь внимание Кати было писать ей пространные письма, вроде тех, которыми они обменивались с Генрихом. Не стоило и пытаться подражать ее братьям в утонченности и небрежном изяществе. Вместо этого он станет излагать свои мысли пространно и взвешенно, относясь к ней с серьезностью, с какой еще никто к ней не относился. Существовал риск, что его письма заставят ее зевать. И все же Катя происходила из семьи, в которой, несмотря на природную склонность к иронии, художников уважали. Возможно, она сумеет разглядеть в Томасе писателя, обладающего независимым умом, а не восторженного сынка любекского коммерсанта?

Однажды вечером, когда он сидел в кафе, вошел Пауль Эренберг. Какое-то время они не виделись.

– Я слышал, ты нашел принцессу и пытаешься ее разбудить, – сказал Пауль.

Томас улыбнулся.

– Брак – это не твое, – сказал Пауль. – Ты должен это понимать.

Томас заметил, что Паулю следует говорить потише.

– Всем, кто сидит за этим столом, прекрасно известно, что

брак – это не твое. Все видят, куда ты смотришь.

– Как твоя работа? – спросил Томас.

Пауль пожал плечами и не ответил.

– Она молода, твоя принцесса. И богата.

Томас промолчал.

Прошла неделя, прежде чем Пауль без предупреждения появился на пороге его квартиры. Шел дождь, его одежда промокла. Томас дал ему полотенце, нашел вешалку для пальто. Он решил, что Пауль пришел поговорить о Юлии, которая объявила о намерении покинуть Мюнхен и поселиться в баварской деревне.

– Надеюсь, ты отговоришь ее от этого опрометчивого поступка, – сказал Томас.

– Я уже сказал ей, что не представляю, чем она там займется. Большинство людей с радостью переехали бы оттуда куда угодно.

– Она считает, моему младшему брату будет лучше учиться в деревенской школе.

Томас гадал, как долго они будут плутать вокруг да около. Он подошел к окнам и закрыл ставни.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Пауль.

– Ничего.

– Я не думаю, что ты должен жениться, – сказал Пауль.

– Тогда я тебя удивлю, – ответил Томас.

# Глава 4

## Мюнхен, 1905 год

После объявления о помолвке Прингсхаймы дали обед в честь Юлии Манн, ее дочери Лулы и зятя Йозефа Лёра. Это был первый официальный обед после приема, на котором Томас познакомился с Катей. Вступив в парадную гостиную, Лёр воскликнул:

– Да уж, денег пошло немало!

Катя с улыбкой обернулась к Томасу: вечно эти зятя норовят сказать пошлость. Томас досадовал, что Карла на гастролях – ее способность к лицедейству сегодня была бы кстати.

Катины родители приняли их с искренностью и теплотой. Мать Кати церемонно распорядилась, чтобы гостям подали напитки, пока отец обсуждал новости с Лёром, который ему поддакивал. Когда их позвали к столу, оказалось, что мать Томаса забрела в дальнюю комнату, где изучала обивку мебельного гарнитура. Томасу пришлось отвести ее в столовую. Юлия хранила молчание, когда было подано первое блюдо. Играет роль благородной вдовы, решил Томас.

У каждого блюда стояла ваза с орхидеей. Бокалы и столовое серебро выглядели старинными, но насколько старинными, Томас не знал. Канделябры, напротив, были новехонь-



кие. На стенах вокруг стола висели современные картины. Будь они в Любеке, его мать часто приглашали бы в такой дом. Она обсуждала бы с хозяином соседей и коллег. Фамильярно поддразнивала бы отца Кати, высмеивая его художественный вкус. Наверняка у нее нашлись бы с хозяйкой общие знакомые.

В гостях у Прингсхаймов Юлия Манн чувствовала себя не в своей тарелке. Альфред Прингсхайм не был торговцем. Не владел магазинами и складами, ничего не экспортировал. Он был профессором математики, который унаследовал деньги от отца, инвестировавшего в угольные шахты и железные дороги. Он присматривал за своими деньгами, но любил повторять, что понятия не имеет, как они прирастают. И добавлял, что не уверен, правильно ли их тратит. Он построил этот дом, потому что нуждался в крове, а картины покупал, потому что они нравились ему и его жене.

– Могу я узнать, клиентом какого банка вы состоите? – спросил Лёр.

– О, я всегда говорю, что присматриваю за семьей, – ответил Альфред, – а Бетманы присматривают за мной.

– Разумно, – заметил Лёр. – Бетманы – старая заслуженная контора. Евреи.

– Это не имеет отношения к делу, – сказал Альфред. – Я бы доверил свои деньги баварским католикам, если бы знал, что они с толком ими распорядятся.

– Если захотите сменить банк, могу свести вас с лучшими

в своем деле. Я говорю о тех, кому можно без страха доверить свои вложения, кто в курсе дел и знает, куда дует ветер.

Катя бросила на Томаса полный иронии взгляд.

— Человек, который слишком много думает о деньгах, беден, — сказал Альфред. — Таков мой девиз. — Он пригубил вино, кивнул и снова пригубил. — Интересно, доживем ли мы до того, что банков не станет, как и денег.

Лёр бросил на хозяина дома недовольный взгляд.

— А между тем, — добавил Альфред, — просыпаясь каждое утро, я не без восторга обнаруживаю, что спал на шелковых простынях. Странно для человека, которого деньги не волнуют!

Томас заметил, что мать разглядывает комнату, задерживаясь взглядом на картинах и скульптурах, вертит шеей, всматриваясь в потолок и изысканную резьбу между балками.

Хедвиг Прингсхайм, мать Кати, не уставала угощать гостей и несколько раз останавливала мужа, чтобы остальные могли вставить слово в разговор, но мать Томаса в беседе не участвовала. Молчанием она словно подчеркивала свою важность.

Клаус был в Вене, поэтому вечер прошел тихо. Кате было не с кем разделить веселье. Ее брат Хайнц, чрезвычайно воспитанный молодой человек, изучавший физику, сидел за столом с таким видом, словно собирался сделать военную карьеру. В покое его лицо казалось Томасу еще красивее,

чем лицо Клауса, кожа нежнее, волосы ярче, губы полнее.

Слушая, как Катя объясняет его сестре любовь своего семейства к музыке Вагнера и Малера, он еще глубже ощущал пропасть между своей семьей и семьей, к которой присоединился.

— Это не мешает нам испытывать равнодушие к остальным, — говорила Катя. — В этом вопросе мама даже принципиальнее папы.

— Она тоже любит Малера? — спросила Лула.

— Густав Малер — ее старый друг, — улыбнулась Катя с невинным видом. — Он всегда говорит, что, для того чтобы стать совершенством, Вене не хватает моей матери. Он ее обожает. Но она не может жить в Вене, потому что у папы работа в Мюнхене.

— А как относится к этому ваш отец?

— Он никогда никого не слушает. Только музыку. Наверное, этого достаточно. Поэтому он не знает, что сказал Малер. Почти все время он думает о математике. Есть даже теоремы, названные в его честь.

От Томаса не ускользнуло, что, судя по виду Лулы, она понятия не имела, что такое теоремы.

— Как чудесно жить в таком доме, — заметила Лула.

— Томми говорит, в Любеке у вашей семьи был прекрасный дом.

— Ему было далеко до вашего!

— В Мюнхене найдутся дома и получше. Но у нас есть этот,

и что же нам теперь делать?

– Наслаждаться.

– Я собираюсь замуж за вашего брата, поэтому мне недолго осталось им наслаждаться.

За те недели, что оставались до свадьбы, Томас несколько раз пытался поцеловать Катю, но рядом вертелся ее брат-близнец, да и сама Катя, с одной стороны, давала понять, что ему следует держать дистанцию, с другой – не скрывала, что с юмором относится к ограничениям, которые накладывались на жениха и невесту.

Когда Клаус, ненадолго оставив их наедине, возвращался в комнату, Катя смущенно улыбалась. Иногда Клаус сразу подходил к сестре, чтобы пощекотать ее, заставляя хихикать и извиваться. Томас не возражал бы, если бы Клаус больше времени уделял музыке, доверив блюсти честь сестры Петеру, который вел бы себя куда пристойнее.

Обычно перед выходом в свет Катя долго наряжалась, поэтому Клаус сидел с Томасом, лениво беседуя о музыке или расспрашивая его о прошлом.

– Самому мне не доводилось бывать в Любеке, – сказал он однажды, пока Катя возилась наверху. – И я не знаю никого, кто бывал не то что в Любеке, но даже в Гамбурге. Должно быть, Мюнхен кажется вам странным городом. Здесь я чувствую себя свободным. Свободнее, чем в Берлине, Франкфурте, даже в Вене. В Мюнхене, если захотите поцеловать

юношу на улице, никто и внимания не обратит. Представляете, какой шум поднялся бы в Любеке?

Томас слабо улыбнулся, сделав вид, что слова Клауса его не касаются. Если Клаус будет настойчив, он сменит тему и сделает так, чтобы больше она никогда не всплывала в разговоре.

– Все будет зависеть от того, захочет ли юноша, чтобы его целовали, – продолжил Клаус. – Большинство не откажутся.

– Как думаете, Малер неплохо зарабатывает?

Он знал, что Клаус не устоит перед соблазном поговорить о Малере.

– Он не жалуется, – ответил Клаус. – Однако Малер вечно пребывает в сомнениях. Такой характер. В середине грандиозной симфонии он беспокоится о нескольких нотах, которые написал для флейты-пикколо в задних рядах оркестра.

– А его жена?

– Она околдовала его. Она одержима его славой. Ведет себя так, словно он единственный мужчина на свете. Она прекрасна. Она меня завораживает.

– Кто это тебя завораживает? – спросила Катя, входя в комнату.

– Ты, мой двойник, моя половина, моя радость. Только ты.

Катя выпустила коготки, делая вид, что собирается вцепиться ему в лицо, и издала звериный вопль.

– Кто придумал закон, что близнецы не могут жениться? – спросил Клаус вполне серьезно.

Наблюдая за близнецами и собираясь вскоре жениться на Кате, Томас сознавал, что никогда не станет своим в том маленьком мирке, который они для себя создали.

Ни он, ни Катя не стали жаловаться, когда Альфред Прингсхайм, не спросив жениха с невестой, сам обставил их квартиру. Окна семикомнатного жилища с двумя ватерклозетами на третьем этаже в доме на Франц-Иосиф-штрассе выходили на дворцовый парк принца Леопольда. Альфред установил в квартире телефон и кабинетный рояль.

Однако Томас и не предполагал, что Альфред обставит также и его кабинет. Квартира по праву была его территорией, и Томас мог только удивляться, что кто-то другой выбирал ему письменный стол, а книжный шкаф был изготовлен по собственному эскизу Альфреда. Он сердечно поблагодарил тестя, стараясь не выдать желания в дальнейшем иметь с Прингсхаймами как можно меньше общего и не сидеть у них за столом дольше необходимого.

Его мать потрясло, что бракосочетание пройдет не в церкви.

– Какой они конфессии? – спросила Юлия. – Если они иудеи, почему не заявляют об этом открыто?

– Семья Катиной матери перешла в протестантизм.

– А ее отец?

– Он не религиозен.

– Но он должен испытывать уважение к браку. Твой зять

утверждает, будто он принимает свою любовницу, актрису, в собственной гостиной. Надеюсь, на свадьбе она не появится.

Обед после гражданской церемонии был таким сумбурным, что присутствие любовницы тестя его бы не испортило. Семья Кати не скрывала горечи, расставаясь с любимой дочерью. Томасу казалось, что Клаус осознанно подставляет Юлию, провоцируя ее высказывать свое возмущение вслух и предаваться воспоминаниям о роскошных приемах в Любеке, а сам подмигивает Кате, потешаясь над ее новоиспеченной свекровью. И только Виктора, младшего брата Томаса, которому исполнилось четырнадцать, все устраивало.

Катя и Томас сели на поезд в Цюрих. Прингсхаймы забронировали им лучший номер в отеле «Баур-о-Лак». В ресторане отеля, одетый для выхода, Томас прекрасно сознавал, как они выглядят со стороны: знаменитый писатель, которому нет и тридцати, и его молодая жена, богатая наследница, одна из немногих женщин, учившихся в Мюнхенском университете, самоуверенная и насмешливая, одетая с неброским шиком.

Во время ужина он представлял Катю обнаженной, ее бледную кожу, полные губы, маленькие грудки, сильные ноги. Голос у нее был низкий, и он легко мог вообразить ее мальчиком.

В ту ночь он почувствовал возбуждение, как только Катя к нему приблизилась. Томас не мог поверить, что ему позволили ее коснуться, что он может гладить ее там, где ему

хочется. Она поцеловала его, бесстрашно просунув язык ему в рот. Почувствовав ее участившееся дыхание и осознав, чего она от него хочет, Томас испуганно замер, однако продолжил исследовать ее тело, заставив Катю перевернуться на бок, чтобы видеть ее лицо, ее соски коснулись его груди, его руки легли ей на ягодицы, а его язык проник ей в рот.

Томаса интриговала манера ее речи, ее суждения о прочитанных книгах, прослушанной музыке, художественных галереях, которые она посетила. В разговорах Катя всегда схватывала самую суть и до конца следовала логике спора. Ее не интересовали чужие мнения, скорее форма и порядок дискуссии и то, какие выводы были сделаны.

Она не чуралась мелочей, вроде того, должны ли альбомы по искусству лежать на низком столике в гостиной и нужны ли там дополнительные лампы. Так же тщательно она изучала его контракты и банковские счета. Катя взяла на себя заботу о его делах, словно это не представляло для нее никаких усилий.

Катя во всем отличалась от его матери и сестер. Томас хотел, чтобы, вернувшись из Италии, Генрих с ней познакомился. Только с братом он мог поделиться тем, как очарован ее еврейским происхождением. Несколько раз, когда он пытался разговаривать на эту тему Катю, она ясно давала понять, что не хочет этого обсуждать.

– Дома, даже в пылу спора, мы никогда об этом не упо-



минаем, — сказала она. — Этот вопрос мою семью не волнует. Мои родители любят музыку, книги, картины, интеллектуальные беседы, как и я, и мои братья. Это не имеет никакого отношения к религии, которой мы не исповедуем. Все это полный абсурд.

Спустя несколько месяцев после свадьбы они гостили в Берлине у ее тети Элизабет Розенберг и ее мужа. Томас полюбил их великолепный дом в районе Тиргартен и был польщен тем, как хорошо они знали его «Будденброков». Его поразило, как беззаботно и небрежно они упоминали о своем еврейском происхождении и как спокойно реагировала Катя на эти разговоры. Томас узнал, что супруги не посещали синагогу и не праздновали Дни трепета, однако всегда, порой шутливо и с пренебрежением, говорили о себе как о евреях. Казалось, это их забавляло.

Как и Прингсхаймы, Розенберги обожали Вагнера. Однажды вечером, когда они сидели в большой гостиной, Катин дядя обнаружил ноты «Валькирии» для фортепиано. Эльза попросила мужа найти сцену с Брунгильдой, Зигмундом и Зиглинде, но, изучив ноты, он сказал, что для него партитура слишком сложна. Вместо этого дядя принялся высоким тенором напевать партию Брунгильды, затем, понизив голос, партию Зигмунда: герой спрашивал Брунгильду, готова ли его сестра-близнец, которую он любил, последовать за ним в Вальхаллу.

Несколько раз он замешкался, вспоминая слова, которые

помнил наизусть.

Закончив, дядя опустил ноты.

— Есть ли на свете что-нибудь прекраснее этого? — спросил он. — Своим исполнением я только все порчу.

— Их любовь была велика, — промолвила его жена. — Слезы наворачиваются на глаза.

И снова Томас подумал о своих родителях, представил, как они слушают историю близнецов, брата и сестры, незапно осознавших, что отчаянно влюблены друг в друга. Он знал, что Юлия с сенатором бывали на представлениях оперы, и гадал, какое впечатление на отца производила история влюбленности брата и сестры.

Розенберги с Катей обсуждали певцов, исполнявших вагнеровский репертуар. Слушая их, Томас чувствовал себя бедным родственником из глухой провинции, попавшим в дом космополитов. Все имена он слышал впервые.

Его глаза остановились на выцветшем гобелене. Поначалу он не мог разобрать узор, затем различил фигуру Нарцисса, который смотрелся в воду, любясь собственным отражением. Прислушиваясь к разговорам, он воображал, что можно сделать из истории близнецов, которые вынуждены расстаться, потому что один из них вступает в брак. Словно Нарцисс, которого отделили от собственного двойника.

Он может дать им имена Зигмунда и Зиглинде, но перенести действие в наши дни. После возвращения в Мюнхен история начала обретать более четкие очертания, однако Томас

сознавал, какие опасности она таит. Действие должно было происходить в доме Розенбергов или другом богатом берлинском доме, но за столом сидела Катина семья. Лазутчиком, проникшим в дом Зиглинде, женившись на ней, будет он сам. Однако его героем станет не писатель, а скучный правительственный чиновник, чужой в компании образованных и светских родственников Зиглинде.

Томас назвал рассказ «Кровь Вельзунгов». Его возбуждало, что, когда он писал его, Катя обычно находилась в соседней комнате. Порой, чтобы сосредоточиться, он закрывал дверь кабинета, но обычно дверь стояла открытой. Ему нравилось слушать, как Катя передвигается по комнате в то время, как он создавал ее вымышленную версию, девушку, которая никогда не разжимала рук с братом-близнецом. Они были очень похожи, писал Томас, слегка вытянутый нос, полные губы, острые скулы и блестящие черные глаза.

Своему двойнику он дал имя Бекерат. Низкорослый, борода клинышком, желтоватый цвет лица. Педантичный. Прежде чем заговорить, он делал короткий вдох через рот, — черта, которую Томас подсмотрел у Йозефа Лёра.

Фрау Ааренхольд, мать близнецов, была маленькой, преждевременно состарившейся женщиной, говорившей с акцентом. Ее муж был богатым шахтовладельцем. Бекерат, который собирался жениться на дочери семейства, считал себя протестантом, в то время как Ааренхольды придерживались иудаизма.

Во время обеда, который стал центральным событием рассказа, Бекерат ощущал нарастающую неловкость. Когда Зигмунд принялся насмеяться над общим знакомым, который не знал разницы между классическим костюмом и смокингом, Бекерат обнаружил, что тоже ее не знает.

Когда разговор коснулся искусства, Бекерат и вовсе смутился.

Посыпая сахаром ананас, Зигмунд попросил у Бекерата разрешения вместе с сестрой тем же вечером посетить представление «Валькирии». Бекерат, который не возражал, добавил, что не прочь к ним присоединиться, но близнецы заявили, что хотят в последний раз перед свадьбой побыть вдвоем.

После спектакля, зная, что дом пуст, Зигфрид пошел в свою комнату, уверенный, что сестра последует за ним. Когда она вошла в спальню, Зигфрид сказал, что, поскольку они одно целое, тот опыт, который сестре предстоит пережить с будущим мужем, станет и его опытом. Она поцеловала его в закрытые веки, он припал поцелуем к ее горлу. Они целовали друг другу руки. Брат и сестра таяли от нежности, и вскоре нежность сменилась бурной страстью.

Томас заканчивал рассказ в спешке, понимая, что стоит ему остановиться, и его начнут терзать сомнения. Он не сказал Кате, о чем его новый рассказ, и, дописав последнее предложение, отложил рукопись в сторону. Прингсхаймы не одобряют, что он вывел их евреями.

Некоторое время спустя, внеся правку, Томас показал рассказ Кате и был удивлен ее спокойствием.

– Мне понравилось. Люблю, когда ты пишешь о музыке.

– А тема?

– Сам Вагнер ее использовал. Разве ты виноват, что последовал по его стопам?

Катя улыбнулась. Она не могла не заметить сходства между семьей Ааренхольд и собственной, думал Томас, однако, судя по всему, ее это ничуть не смутило.

Спустя несколько дней Катя сообщила ему, что рассказала о его новом сочинении матери и брату и они приглашают его прочесть рассказ после ужина.

Томас спрашивал себя, не хочет ли Катя таким способом предупредить его, надеясь, что он не осмелится прочесть рассказ перед ее семьей и отложит публикацию? Впрочем, он уже решил отослать рассказ в журнал, так пусть они услышат его первыми.

Он листал рукопись в гостиной, когда к нему присоединились Катя с Клаусом. Они сдвинули кресла, а их мать села поодаль.

Томас откашлялся, глотнул воды и начал читать. Клаус, несмотря на разговоры о мужских поцелуях, был невинной душой. Он уже никогда не будет прежним, когда я закончу, мстительно подумал Томас. Однако мать Кати вполне способна вскочить и с криком отвращения выбежать из комнаты, призывая мужа, мать и служанку.

Поскольку слушатели были знакомы с сюжетом «Валькирии», при упоминании имен близнецов они одобрительно хмыкнули и продолжали выражать вслух свое одобрение, когда выяснилось, что герои собрались посетить оперу.

Огонь трещал, слуги входили и выходили, а Томас с выражением зачитывал места, которые не могли оскорбить слушателей. Несмотря на всю решимость, когда он добрался до рискованных мест, смелость ему изменила. Томас пропустил несколько абзацев и быстро проскочил сцену, где близнецы счастливо соединялись, выбросив пару фраз там и тут. Закончив читать, он подумал, что слушатели утратили нить повествования.

– Это восхитительно, к тому же превосходно написано, – подала голос мать Кати.

– Это ты научила его понимать оперу? – спросил Клаус у Кати.

Вскоре он отослал рукопись «Крови Вельзунгов» в журнал «Нойе Рундшау», который без лишних слов поставил рассказ в январский номер. После чего рассказ совершенно вылетел у него из головы, ибо подошло Катино время рожать первенца.

Никто не подготовил его к агонии, через которую пришлось пройти Кате в ночь родов. Когда ребенок появился на свет, он почувствовал облегчение и одновременно понимание, что Катя никогда уже не будет прежней. То новое зна-

ние, которое она приобрела, навсегда останется с ней.

Это была девочка, которую называли Эрикой. Томас хотел сына, но написал Генриху, что, возможно, наблюдение за тем, как девочка будет расти, заставит его лучше понимать другой пол, ибо, несмотря на свой женатый статус, в женщинах он разбирался плохо.

В первые месяцы частые визиты родителей жены, которые души не чаяли в ребенке, заставили Томаса отказаться от публикации, несмотря на то что рассказ о близнецах был уже в печати. Он боялся, что, прочтя его, тесть и теща оскорбятся, узнав в героях себя. Он все еще волновался, когда встретил молодого издателя, который успел прочесть рассказ и, задыхаясь, сообщил ему, что другие тоже прочли.

– Мы считаем, это очень смело – написать рассказ о близнецах, будучи женатым на такой сестре! – воскликнул редактор. – Мой приятель спрашивает себя: это ваше богатое воображение тому виной или вас угораздило породниться с самым экстравагантным семейством в Мюнхене?

Однажды вечером, вернувшись от родителей, Катя сообщила ему, что ее отец в гневе и желает немедленно видеть зятя.

До сих пор он ни разу не заходил в кабинет тестя. Книжные полки с одной стороны были от пола до потолка уставлены книгами по искусству, с другой стояли переплетенные в кожу тома. С обеих сторон рядом с полками располагались стремянки. Стена за письменным столом была укра-

шена итальянской майоликой. Пока Томас изучал изразцы, тесть спросил, как его угораздило написать этот рассказ.

– Люди судачат. По-моему, это отвратительно.

– Рассказ не будет опубликован, – сказал Томас.

– Какая разница? Его уже прочли. Знай мы, что вы исповедуете подобные взгляды, вас никогда бы не пустили на порог этого дома.

– Какие взгляды?

– Антисемитские.

– Я не исповедую антисемитских взглядов.

– Это ваше дело, нас это не касается. Но нас волнует, что человек, выдающий себя за нашего зятя, вторгается в нашу частную жизнь.

– Я и есть ваш зять.

– Вы – низшее существо. Клаус намерен вас поколотить.

Мгновение Томас размышлял, не спросить ли Альфреда, как поживает его любовница.

– Вы можете гарантировать, что этот оскорбительный пасквиль не появится ни в одной газетенке? – спросил его Альфред Прингсхайм.

Томас поднял глаза и пожал плечами.

Тесть отвел его в гостиную, где была Катя, которая вернулась в родительский дом, оставив ребенка няне. Она стояла рядом с братом, а их мать сидела в кресле. Глаза Кати сияли. Она улыбнулась Томасу:

– Клаус жалеет, что рассказ не будет опубликован. Он со-



здал бы ему репутацию. Он считает, до сих пор у него ее не было. Разве не так, братец? Все показывали бы на тебя пальцем.

Кlaus потянулся, чтобы ее пощекотать.

– Вы собрались меня поколотить? – спросил Томас у Клауса.

– Чего не скажешь, чтобы порадовать папу.

– Бедный папа, – промолвила фрау Прингсхайм. – Он обвиняет меня в том, что я не сообщила ему, какой ужасный рассказ вы нам прочли. Я ответила, что воспринимала только ритм. Это было так поэтично. Я не задумывалась, о чем он. Мне действительно показалось, что рассказ чудесный.

– Я не пропустил ни единого слова, – сказал Клаус. – Рассказ действительно чудесный. У вас невероятно сильное впечатление! Впрочем, возможно, вы просто умеете слушать?

Альфред, который беспомощно замер в дверях, строго обратился в Томасу:

– Я бы посоветовал вам обратиться к истории или сочинять романы из жизни любекских торговцев.

Последние слова были произнесены таким тоном, словно речь шла о чем-то крайне безвкусном и дремучем.

Их самым частым гостем был Клаус Прингсхайм, который сомневался в полезности для Эрики послеобеденного сна.

– А чем еще ей заниматься, как не развлекать своего бедного дядюшку, – спросил он, – когда ему придет охота ее на-

вестить?

– Пусть спит, – сказала Катя.

– Твой муж больше не хочет писать про нас? – спросил Клаус, словно не замечая присутствия Томаса.

Томас видел, что Катя медлит с ответом. После рождения Эрики она стала гораздо серьезнее, в то время как Клаус пытался вернуться к легкомысленному тону, некогда принятому между братом и сестрой.

– Написал бы про нас целую книгу, – продолжал Клаус. – И тогда мы точно прославимся.

– У моего мужа есть дела посерьезнее, – ответила Катя.

Клаус откинулся на спинку кресла, скрестил руки и изучающе посмотрел на сестру.

– Что стало с моей принцессой? – спросил Клаус. – Неужели эта печаль – следствие замужества и материнства?

Томасу захотелось сменить тему.

– Я прихожу только ради того, чтобы поиграть с Эрикой, – сказал Клаус.

– Я даже не уверена, что ты ей нравишься, – заметила Катя.

– Почему нет?

– Ей по душе серьезные мужчины. Думаю, она любит солидность.

– Она любит папочку? – спросил Клаус. – Вот уж у кого хватает солидности.

– Да, она любит папочку, – сказал Томас.

– Она его милая малышка?

Томас решил, что пора вернуться в кабинет.

Мать Томаса поселилась в деревне Поллинг, к югу от Мюнхена. Швайгардты, которых Йозеф Лёр знал до женитьбы, владели фермой на окраине деревни и жили в одном из строений старинного бенедиктинского монастыря. Летом Макс и Катарина Швайгардт сдавали комнаты внаем. Катарине понравились Юлия и Виктор, и она согласилась сдать им на год дом на землях монастыря, пообещав представить Юлию столпам местного общества и заверив ее, что воздух Поллинга и его простые нравы придутся ей по нраву, да и Виктору тут будет лучше, чем в Мюнхене.

В деревне царили тишина и покой; большинство поездов южного направления не останавливалось на местной железнодорожной станции. Когда Томас в первый раз приехал навестить мать, Катарина отвела его в сторону.

– Не уверена, что понимаю характер ваших занятий, – сказала она. – Я знаю герра Лёра и Лулу. Один раз я видела Карлу, она актриса. Насчет вас с братом я не уверена. Вы оба пишете? Оба этим живете?

– Все верно.

Катарина удовлетворенно улыбнулась:

– Никогда не слышала о братьях-писателях. Летом у нас часто останавливаются художники, но то, чем они зарабатывают на хлеб, не кажется мне солидным занятием. – На се-

кунду она замялась. — Я не про деньги или способы себя содержать. Я про темную сторону жизни, про ее невзгоды и тяготы. Кому, как не писателям, понимать такое, а что в жизни важнее понимания? Должно быть, у вас особенная семья, если из нее вышли двое писателей.

Катарина рассуждала о темной стороне жизни словно о чем-то неизбежном, вроде смены времен года или течения времени.

Для своего скромного домика его мать привезла свою лучшую мебель и ковры из Мюнхена и Любека. Томас замер от удивления, увидав их на новом месте; вещи казались призраками, знаками того, что старый мир их не забыл.

Скоро мать почувствовала себя в деревне как дома. Она сама готовила завтраки, но не возражала, когда Катарина или ее дочь прислуживали ей за ужином, а Виктор с удовольствием проводил время в полях с Максом Швайгардтом и его сыном.

Вскоре Юлия начала принимать в новом доме гостей. Она пыталась вести себя как в былые времена в Любеке и так носилась с самыми заурядными соседями, словно те явились из какого-то особенного мира. Если кто-то приезжал на велосипеде, она требовала, чтобы ей позволили его осмотреть, и восхищалась его устройством. В деревне Юлия расцвела; ее там называли «фрау сенатор».

Между рождением второго ребенка, Клауса, и третьего,

Голо, прошло три года. Старшие дети росли требовательными и шумными, Голо орал что было мочи, поэтому Томас на­ ходил визиты к матери в Поллинг весьма расслабляющими.

Однако сам дом, сараи, амбары, фруктовые деревья, за­ гоны для скота, пчелиные ульи, а равно атмосфера патри­ архального земледелия и скотоводства вызывали его живой интерес. Он стремился узнать Баварию, чтобы когда-нибудь перенести место действия будущего романа в одну из мест­ ных деревень.

Томасу нравилось гулять по окрестностям и пустым кори­ дорам старинного монастыря. Это стало привычкой. Наверху была одна комната, на вид бывшая монашеская келья. Ветви вяза под высоким окном пятнали крашенные темперой сте­ ны. Томас любил здесь сидеть, наслаждаться тишиной и из­ менчивым светом, думать, что некогда келья была местом, где предавалась молитвам и размышлениям одинокая душа. Под кельей располагалась большая комната, которую назы­ вали комнатой настоятеля, и в ней Томасу нравилось читать.

Он обедал с матерью, обсуждая ее заботы, – Юлию трево­ жила Карла, которая получала маленькие роли, а потенци­ альные женихи не отвечали ее высоким требованиям.

– Она не актриса, – говорила Юлия. – Никогда ею не бы­ ла и никогда не станет. Но попробуй ей такое сказать! Когда Лула заявила без обиняков, что актриса из нее никудышная, Карла перестала с ней разговаривать. Разумеется, Генрих ее поощряет, но она слишком зависима от его поддержки. Пора

ей обзавестись семьей и посвятить себя домашнему хозяйству, но она встречается только с актерами, а от них мало толку.

Томас вспомнил, как видел Карлу в какой-то проходной комедии в маленьком театрике в Дюссельдорфе. На сцене она держалась как трагическая героиня даже в комических эпизодах. За ужином после спектакля Томас заметил, что сестра не находит себе места. Она без конца спрашивала брата, понравилась ли ему ее игра. После нескольких выпитых бокалов Карла очень походила на мать.

Сестра редко упоминала о его собственных жене и детях. Когда Томас заводил о них разговор, она меняла тему. Позже, когда они заговорили о браках, Карла сказала, что Лула очень несчастна, несмотря на прелестных дочерей. Только представь, восклицала она, выйти за Йозефа Лёра и каждую ночь ложиться с ним в постель? Томас отвечал, что не в состоянии такого представить. И они расхохотались.

Генрих написал ему, что у Карлы появился жених, некий Артур Гибо, фабрикант из Мюльхаузена. Он был далек от театра и хотел, чтобы Карла ради семьи пожертвовала карьерой актрисы. Карле нравилось, что в Мюльхаузене в ходу французский, и она призналась матери, как хочется ей, чтобы ее будущие дети говорили по-французски.

– Куда подевались ее богемные замашки? – спросил Томас.

– В этом году Карле исполнится тридцать, – ответила мать.

– Этот фабрикант видел ее на сцене?

– Меня так обрадовало это известие, что я не стала задавать лишних вопросов и запретила Луле ее расспрашивать. Однако похоже, семья Артура предпочла бы, чтобы он нашел невесту без сценического опыта.

Когда Томас встретился с Карлой в Поллинге, ему показалось, что она постарела. Его раздражали постоянные расспросы о Генрихе. Он знал о намерениях брата не больше, чем Карла. Когда он обмолвился, что Катя беременна четвертым ребенком, Карла дерзко вскинула глаза:

– Не многовато ли?

Он пожал плечами.

– Я уверена, что Катя счастлива в браке, – сказала Карла. – Ей повезло. Из всех нас ты самый постоянный.

Томас спросил, что она имеет в виду.

– Ты думаешь, Генрих более надежный, а Лула более решительная, чем ты, но это не так. А я? Я хочу невозможного. Актерской славы, путешествий, новых впечатлений. А еще тихой семейной жизни. Нельзя обладать и тем и другим. А вот ты, ты всегда делаешь то, что хочешь. Ты единственный из нас, кому это удается.

Впервые Карла, отбросив беспечность, говорила при нем так серьезно и искренне. Возможно, все дело было в ее решении выбрать судьбу замужней женщины.

За завтраком мать увлеченно рассуждала о предстоящем

бракосочетании.

– Я понимаю, что Поллинг не самое фешенебельное место и семейству Гибо долго сюда добираться, но им придется смириться. Мать невесты настаивает, чтобы церемония прошла в здешней церквушке, а прием мы устроим в комнате настоятеля. В целом свете нет более подходящего места для скромной брачной церемонии. А малышки Лёры и крошка Эрика станут подружками невесты и будут держать букеты во время венчания.

Томас видел, что Карла поморщилась.

– И я никогда не прощу Генриху, если он не приедет на свадьбу. Когда сенатор умер, он был тебе вместо отца, бедняжка Карла. Ты делилась с ним своими маленькими тайнами. Я никогда не знала, что у тебя на уме. Помнишь, ты держала череп на туалетном столике? Как странно для девочки! И только Генрих тебя понимал. Вы все должны написать ему, что мы его ждем.

Тем летом после рождения Моники Томас и Катя с детьми жили в доме, который они построили в Бад-Тельце на реке Изар – месте, где мюнхенцы любили проводить летние месяцы. Ему нравилось, как стремительно меняется рисунок облаков, заставляя свет падать под разными углами, а дети радовались возможности завести друзей, с которыми им разрешали гулять под бдительным присмотром гувернантки.

Однажды в середине лета они с Катей пригласили гостей,



и несколько часов сад наполнял детский гомон. Взрослые обедали на террасе, пили белое вино из запасов хозяина. Когда гости ушли, служанка повела трех старших детей на реку, а Катя вернулась к двухмесячной Монике.

Томас подумывал вздремнуть, когда раздался телефонный звонок. Это был пастор из Поллинга.

– Приготовьтесь услышать плохие новости.

– Что-то случилось с моей матерью?

– Нет.

– А с кем?

– С вами в доме кто-нибудь есть?

– Можете просто сказать, что случилось?

– Ваша сестра умерла.

– Какая из сестер?

– Актриса.

– Где?

– Здесь, в Поллинге. Сегодня днем.

– Как это случилось?

– Я не вправе рассказывать.

– Несчастный случай?

– Нет.

– Моя мать там?

– Она не в состоянии разговаривать.

– Передайте ей, что я приеду, как только смогу.

Положив трубку, Томас отправился на кухню. Вспомнив, что одну бутылку не допили, он тщательно вставил пробку в

горлышко, налил себе стакан воды и устался на кухонную утварь, словно та могла подсказать ему, что он должен чувствовать.

Вероятно, Томас мог бы просто оставить Кате записку, что решил провести мать. Однако этого недостаточно. Ему пришлось бы написать, что его сестра умерла, а он не знал, как изложить это на бумаге. Затем он вспомнил, что Катя в этом же доме, только наверху.

Жена убедила его дожидаться утра.

Томас приехал в Поллинг около полудня следующего дня и обнаружил мать в гостиной Швайгардтов с высокими потолками. Над Юлией хлопотала Катарина.

– Тело унесли, – сказала Юлия. – Они спросили, хотим ли мы взглянуть на нее перед тем, как закроют гроб, но я отказалась. У нее все лицо в пятнах.

– Каких пятнах? – спросил он.

– От цианида, – ответила мать. – Она приняла цианид. Он был у нее с собой.

В последующие часы Томас узнал, что случилось. У его сестры была связь с врачом, который ездил за ней во время гастролей, останавливаясь в одном отеле с трупой. Он был женат и говорил жене, что навещает пациентов в других городах. Карла жаловалась матери, как страдал ее любовник от яростной ревности жены. Узнав, что Карла помолвлена, он потребовал, чтобы она продолжала с ним встречаться, а если откажется, угрожал написать Артуру Гибо и его семье.

Пусть знают, что Карла – не та женщина, которая достойна стать женой уважаемого предпринимателя. Карла уступила ему, но врач все равно написал ее жениху и его семье.

Карла обратилась к Генриху, который был в Италии, прося повлиять на Гибо и убедить его, что все это ложь.

Но не успел Генрих вмешаться, как Артур Гибо сам нагрянул в Поллинг, куда сбежала Карла. Припертая к стене, она призналась ему во всем. Артур на коленях умолял ее расстаться с любовником. По крайней мере, так он впоследствии рассказывал Юлии. Карла согласилась. После того как они расстались, Карла бросилась к себе. Несколько секунд спустя мать услышала вскрик и булькающий звук – Карла пыталась затушить водой охваченное жжением горло. Мать хотела войти, но дверь была заперта.

Юлия бросилась на поиски Швайгардтов. Макс не заставил себя ждать и, не сумев открыть дверь, просто ее выломал. Он обнаружил Карлу на кушетке с черными пятнами на руках и лице. Она была мертва.

Томас написал Генриху, уже зная, что мать успела сообщить ему о смерти Карлы.

«В присутствии матери я стараюсь сохранять спокойствие, – писал он, – но, когда остаюсь один, с трудом держу себя в руках. Если бы Карла обратилась за помощью к нам, мы бы ей помогли. Я пытался говорить с Лулой, но она безутешна».

Спустя несколько дней после похорон Карлы Томас увез

мать с Виктором в Бад-Тёльц.

Генрих на похороны не приехал. Они встретились с Томасом в Мюнхене и вместе поехали в Поллинг. Генрих хотел побывать в комнате, где умерла Карла.

Они подошли к ее спальне. После смерти Карлы в комнате многое изменилось. Не было стакана, из которого она пила, пытаясь загасить жжение. На виду не осталось ни одежды, ни драгоценностей. Кровать была застелена. На прикроватном столике лежал экземпляр шекспировской пьесы «Бесплодные усилия любви». Должно быть, Карла собиралась принять участие в постановке, подумал Томас. В углу комнаты он заметил ее саквояж. Когда Генрих открыл платяной шкаф, там висела одежда Карлы.

Казалось, сестра в любой момент может войти в комнату и спросить, что ее братцы здесь подделывают.

– Это кушетка из Любека, – заметил Генрих, поглаживая потускневшую полосатую обивку.

Томас не помнил этой кушетки.

– Здесь она лежала, – сказал Генрих сам себе.

Когда Генрих спросил, кричала ли она перед смертью, Томасу пришлось объяснить, что он был не здесь, а в Бад-Тёльце. Он думал, Генрих знает. Он почти не сомневался, что утром сам сказал ему об этом.

– Я знаю. Но ты слышал ее крик?

– Как я мог слышать ее крик?

– Я его слышал. В ту минуту, когда она приняла яд. Я вы-

шел на прогулку, остановился, оглянулся. Голос был четкий, и это был ее голос. Она кричала от ужасной боли. Звала меня по имени. Я стоял и слушал, пока голос не затих. Я знал, что она умерла. Ждал новостей. Со мной никогда такого не случалось. Ты знаешь, как я не люблю разговоры про духов и покойников. Но это правда. Все так и было.

Он подошел к двери и захлопнул ее.

– Все так и было, – повторил Генрих.

Невидящим взглядом он смотрел на брата, который принялся спускаться по лестнице.

## Глава 5

### Венеция, 1911 год

Томас в одиночестве сидел в центре зала у прохода, а Густав Малер, пытаясь добиться полного молчания, поднял обе руки, удерживая тишину и готовясь дать знак оркестрантам к началу медленной части. После он признается Томасу, которого пригласил на репетицию, что, если ему удастся достичь абсолютной тишины перед первой нотой, успех обеспечен. Однако такое бывает редко. То мешает случайный шум, то оркестранты не в состоянии держать дыхание так долго, как ему хотелось бы. Мне нужна не просто тишина, сказал Малер, а полное отсутствие звука, совершенная пустота.

Обладая полной властью за дирижерским пультом, композитор был мягок с оркестрантами. То, чего он добивался, не требовало резких взмахов руками. Музыка рождалась из пустоты, и музыканты должны были почувствовать эту пустоту, которая предшествовала звуку. Томасу казалось, что Малер пытается максимально его приглушить, подавая знаки отдельным оркестрантам, призывая их играть тише. Затем он развел руки, словно подтягивал музыку к себе. Дирижер побуждал музыкантов играть так мягко, как позволяли их инструменты.

Малер заставлял их снова и снова повторять первые так-

ты, по взмаху дирижерской палочки оркестранты должны были вступать одновременно. Малер добивался отточенности звука.

Как это похоже на начало главы, подумал Томас, когда переписываешь, начинаешь снова, добавляя одни слова и фразы, вычеркивая другие, медленно доводя текст до совершенства, до состояния, когда больше ничего нельзя исправить и уже не важно, день сейчас или ночь, падаешь ли с ног от усталости или полон сил.

Томас слышал о мнительности Малера, о его одержимости смертью. Композитор не любил, когда ему напоминали, что это его восьмая симфония, за которой должна последовать девятая.

Симфония поразила Томаса контрастом помпезности и утонченности. Это был Малер во всей мощи и славе, способный собрать оркестр и хор такого размера. В этой музыке было что-то таинственное и незавершенное, бравурность сменялась нежной одинокой мелодией, печальной и робкой, выдавая талант деликатный и свободный.

На ужине после репетиции Малер не выглядел изможденным. Слухи о том, что он угасает, казались преувеличением. Ссутулившись за столом, он беспокойно оглядывался. Стоило кому-нибудь войти, и Малер тут же выпрямлял спину. Лицо композитора оживлялось, и все на него оборачивались. Томас чувствовал в нем эротическое напряжение, силу скорее физическую, нежели духовную. Когда наконец к ним

присоединилась Альма – блюда подали только после ее прихода, – Томас понял, что композитор одержим своею женой. Альма игнорировала мужа, целуясь и обнимаясь с самыми ничтожными его обожателями, и, вероятно, решил Томас, это было частью игры. Великий композитор покорно сидел рядом с пустым стулом, словно и этот вечер, и его изысканно сложная и длинная симфония были задуманы лишь для того, чтобы Альма заняла место рядом с ним за столом.

Вскоре после этого Катя узнала от Клауса, что Малеру осталось недолго. Его сердце слабело. Несколько раз ему удалось избежать смерти, но когда-нибудь его везение закончится. Малер одержимо трудился над девятой симфонией и вполне мог умереть до ее завершения.

Томаса поражало, что Малер живет, творит, воображает звуки, которые будут записаны нотами, понимая, что скоро его одержимости музыкой придет конец. Придет миг, когда он напишет последнюю фразу. И этот миг определялся не его духом, а лишь биением его сердца.

Генрих, который приехал к ним погостить, признался брату, что смерть Карлы не дает ему покоя. Мысль о самоубийстве сестры не покидала его с утра до вечера. Беспокойный дух Карлы не могла исцелить даже могила. Генрих виделся с матерью, и она подтвердила, что ощущает присутствие дочери в укромных уголках дома.

Генрих открыто выражал свою скорбь, Томас же, напро-



тив, после смерти сестры с головой ушел в работу. Порой он даже воображал, что никакого самоубийства не было. Он почти завидовал способности Генриха рассуждать о смерти Карлы вслух.

Впрочем, лучше бы Генрих обсуждал дела семейные, чем вещал о политике. Теперь брат придерживался крайне левых и интернационалистских взглядов. Газеты писали об усилении напряженности между Германией и Россией, а также Францией и Британией. Томас считал, что другие страны, замышляя недоброе, заставляют Германию увеличивать военные расходы, Генрих же называл такую политику образцом прусского экспансионизма. Его система взглядов сложилась, и он рассматривал любое событие сквозь призму своих убеждений. Томасу было скучно обсуждать с братом политику.

Вспоминая о Карле, Генрих испытывал неподдельные страдания. Брат делал длинные паузы между словами, прерывал фразы на полуслове.

Катя согласилась отправиться в путешествие вместе с Генрихом, который возвращался в Рим, и Томас подумал, что хорошая компания развеет его печаль. Они могли бы оставить детей в Мюнхене под присмотром гувернанток, попросив мать Кати время от времени их навещать. Томас чувствовал, что с большим желанием посетил бы не Рим или Неаполь, а Адриатическое побережье. Само слово «Адриатика» рождало образы мягких солнечных лучей и теплой морской

воды, особенно если вспоминать о ней, ежегодно читая лекции в промозглом Кёльне, Франкфурте и других окрестных городах.

В мае они забронировали гостиницу на острове Бриони у побережья Истрии и взяли билеты на ночной экспресс из Мюнхена до Триеста и далее на местный поезд. Томасу пришлось по душе вышколенный персонал, тяжелая старомодная мебель и церемонные манеры постояльцев, которые не позволяли себе расслабиться даже на маленьком галечном пляже при отеле. Готовили тут в австрийском стиле, а официанты достаточно свободно владели немецким.

Все трое разделяли неприязнь к эрцгерцогине, жившей со свитой в том же отеле. Когда она входила в столовую, предполагалось, что все остальные гости должны встать и усесться не раньше, чем изволит сесть эрцгерцогиня. Никто не должен был покидать столовую до ее ухода, а когда эрцгерцогиня вставала из-за стола, гости снова подсакивали.

– Мы гораздо важнее ее, – смеялась Катя.

– В следующий раз я вставать не стану, – говорил Генрих.

Присутствие эрцгерцогини скрепляло их маленькую компанию. Когда Генриху приходило в голову поделиться с ними свежими идеями о том, как пруссакам избавиться от навязчивого беспокойства, они всегда могли обсудить эрцгерцогиню и то, с каким подобострастием приближался к ее столу управляющий, чтобы лично принять заказ, а затем, пятясь, удалиться на кухню.

– Интересно, как она купается, – сказала Катя. – Я была бы не против увидеть, как непочтительно волны обходятся с ее светлостью.

– Так и кончаются империи, – заметил Генрих. – Безумная старая летучая мышь, перед которой пресмыкаются в провинциальной гостинице. Всему этому скоро придет конец.

Скука жизни на острове и надменность эрцгерцогини заставили их покинуть далматинское побережье. Они нашли в Пуле паром, который шел до Венеции, где Томас забронировал комнаты в «Гранд-отель-де-Бен» на острове Лидо.

За день до отъезда пришли новости о смерти Малера. О нем писали во всех передовицах.

– Клаус, мой брат, – сказала Катя, – был влюблен в него, а также многие из его друзей.

– Вы хотите сказать... – начал Генрих.

– Да. Впрочем, это ничем не закончилось. И Альма всегда была настороже.

– Я видел ее лишь однажды, – сказал Генрих, – но, если бы я на ней женился, я бы тоже долго не протянул.

– Я помню, как она игнорировала его за столом, и, кажется, это доставляло ему удовольствие, – заметил Томас.

– Эти молодые люди любили его, – продолжила Катя. – Клаус с друзьями держали пари, кому первому удастся его поцеловать.

– Поцеловать Малера? – переспросил Томас.

– Мой отец предпочитает Брукнера, – сказала Катя. – У

Малера ему нравятся песни. И одна из симфоний. Не помню какая.

– Вряд ли это та, которую я слышал, – заметил Генрих. – Та тянулась с апреля до Нового года. Я успел отрастить длинную бороду.

– В нашем доме всегда любили Малера, – сказала Катя. – Даже произнести его имя было Клаусу в радость. Во всем остальном он совершенно нормален.

– Твой брат Клаус? Нормален? – удивился Томас.

До этого Томас ни разу не попадал в Венецию по морю. Завидев на горизонте ее силуэт, он уже знал, что о ней напишет. И одновременно утешится, сделав Малера одним из героев. Он воображал, как композитор ерзает в лодке и вертится по сторонам, любуясь видами.

Томас знал, каким опишет Малера: ниже среднего роста, с головой, которая казалась слишком большой для хрупкого тела. Волосы его герой зачесывал назад, а еще у него были густые кустистые брови и взгляд, всегда готовый уйти в себя.

Теперь Томас видел героя скорее писателем, чем композитором, автором некоторого количества книг, о написании которых Томас и сам порой задумывался, например жизнеописания Фридриха Великого. Писатель был знаменит на родине, а в Венеции хотел отдохнуть от трудов и славы.

– Ты что-то задумал? – спросила его Катя.

– Да, но пока не уверен.

Стоило судну пришвартоваться, к борту прижались гондолы, опустили трап, таможенники ступили на борт, и пассажиры начали сходить на берег. Когда они сели в гондолу, Томас отметил ее строгий, церемониальный стиль, словно эти лодки предназначались для перевозки по каналам не живых людей, а гробов.

Пока они ждали в вестибюле гостиницы, Томас заметил, насколько приятнее находиться там, где нет эрцгерцогинь. Их окна выходили на пляж, был прилив, и низкие волны с ритмичным плеском набегали на песок.

За обедом они обнаружили, что очутились в космополитичном мире. Компания грустных и вежливых американцев располагалась за соседним столом, за ними сидели английские леди, семья русских, немцы, поляки.

Томас видел, как полька, сидевшая за столом с дочерьми, отослала официанта, – не все члены семьи были в сборе. Затем поляки указали официанту на мальчика, который только что вошел в двустворчатую дверь. Он опоздал.

Со спокойным хладнокровием мальчик пересек обеденную залу. Его светлые волосы доходили почти до плеч. На нем была английская матроска. Он уверенно уселся за стол, сухо кивнул матери и сестрам, оказавшись прямо в поле зрения Томаса.

Томас понял, что Катя, в отличие от Генриха, тоже заметила мальчика.

– Как любой на моем месте, я хотел бы увидеть площадь

Сан-Марко, — сказал Генрих. — Затем Фрари, Сан-Рокко ради Тинторетто, а еще тут есть такая странная комнатка, вроде магазинчика, где выставлен Карпаччо. Больше ничего. Остальное время я намерен плавать, смотреть на небо и море и ни о чем не думать.

Томас отметил бледную кожу мальчика, синеву его глаз и спокойное достоинство облика. Когда мать обращалась к нему, мальчик почтительно кивал. С официантом держался вежливо и серьезно. Томаса восхитила даже не его красота, а эта манера, это спокойствие без угрюмости. Сидя за семейным столом, он словно мысленно пребывал где-то еще. Томас любовался его самообладанием и хладнокровием. Когда мальчик поймал его взгляд, Томас опустил глаза, убеждая себя задуматься о планах на завтра и выбросить мальчика из головы.

С утра небо сияло голубизной, и они решили, что, поскольку постояльцам были доступны все услуги отеля, этот день они проведут на пляже. Томас захватил с собой блокнот и роман, который намеревался прочесть, Катя тоже взяла книгу. Им принесли зонт, поставили стол и кресло, чтобы Томас мог писать.

Он снова увидел мальчика за завтраком, и снова тот появился позже других членов семьи, словно это была некая привилегия, которую он требовал для себя. С тем же спокойным изяществом, что и вчера, он подошел к столу. Очарование мальчика было тем неоспоримее, чем яснее Томас

понимал, что не вправе к нему обратиться и может только смотреть.

В течение первого часа на пляже не было ни мальчика, ни его семьи. Наконец он появился, обнаженный до пояса, и приветствовал компанию подростков, которые резвились на куче песка. Они позвали его по имени, – два слога, которых Томас не расслышал.

Мальчики начали строить мост между двумя песчаными кучами, а Томас наблюдал, как его герой тащит доску и с помощью приятеля, который был старше и сильнее, опускает ее на место. Полюбовавшись хорошей работой, мальчики удалились обнявшись.

Подошел уличный торговец с клубникой, но Катя отослала его.

– Они ее даже не моют, – сказала она.

Отложив работу, Томас взялся за книжку. Наверняка мальчик с приятелем где-то проказничают и появятся не раньше обеда.

Он дремал в млечном сиянии моря, просыпался, читал, снова засыпал, пока не услышал голос Кати:

– Он вернулся.

Говорила она достаточно тихо, чтобы Генрих не мог различить ее слов. Когда Томас выпрямился и взглянул на нее, Катя продолжала читать. Мальчик зашел по колено в воду и продвигался вперед. Затем поплыл, пока мать с гувернанткой не принялись уговаривать его повернуть назад. Томас

смотрел, как он выходит из моря, а с его волос капает вода. Чем пристальнее он в него всматривался, тем глубже погружалась в чтение Катя. Томас знал, что, оставшись вдвоем, они не станут заводить об этом разговор, говорить было не о чем. Не было нужды таиться, и Томас переместил кресло так, чтобы видеть мальчика, который вытирался под бдительным присмотром матери и гувернантки.

Погода благоприятствовала тому, чтобы и дальше прохладиться на пляже, но на следующее утро Генрих уговорил их отправиться осматривать церкви и художественные галереи. Как только лодка отчалила от маленького причала, Томас пожалел о своем решении. Он оставлял позади пляжную жизнь, такую же насыщенную, как и вчера.

Когда они приблизились к площади, Венеция предстала перед ними во всей красе. Их оведал тепловатый сирокко; Томас откинулся на сиденье и закрыл глаза. Они проведут утро, разглядывая картины, затем пообедают и вернутся на Лидо к вечеру, когда сядет солнце.

Они с Катей улыбнулись при виде бурного восторга, который испытал Генрих перед тициановским «Вознесением Девы Марии» во Фрари. Истинный романист не должен восхищаться подобной картиной, думал Томас. Несмотря на роскошный цвет одеяния, центральная фигура выглядела слишком неправдоподобной, и Томас обратил взгляд к потрясенным лицам внизу, лицам обычных людей, которые, как и Томас, были свидетелями вознесения.



Томас знал, что на обратном пути к Большому каналу Генрих непременно захочет поделиться с ними своими философскими обобщениями о европейской истории и религии. Он был не в настроении выслушивать излияния брата, но не хотел испортить той сердечности, которая установилась между ними в то утро.

– Ты можешь вообразить себя живущим во времена Распятия? – спросил Генрих.

Томас серьезно посмотрел на брата, словно и впрямь обдумывал его вопрос.

– Мне кажется, в мире больше ничего не случится, – продолжал Генрих, возвысив голос и перекрывая утренние звуки, заполнявшие узкие улочки. – Будут войны, угрозы войн, перемирия и переговоры. Будет торговля. Корабли станут вместительнее и быстрее. Дороги улучшатся. В горах проложат туннели, построят более совершенные мосты. Но больше никакого катаклизма, больше никакого божественного присутствия. Вечность будет буржуазной.

Томас с улыбкой кивнул, а Катя сказала, что ей понравились и Тициан, и Тинторетто, хотя путеводитель утверждал, что они очень разные.

Они вступили в темное помещение, где висел Карпаччо, и Томас порадовался, что никто за ним не наблюдает. Он отошел от Кати и Генриха. Его удивило, как неожиданно в его голове возник Малер. В этой сумрачной галерее он и сам мог представить себя Малером. Это была странная и причудли-

вая идея – вообразить, что Малер сейчас здесь и прогуливается от картины к картине, наслаждаясь живописью.

На пароме из Пулы, когда он продумывал историю, героем которой должен был стать Малер, протагонист представлялся ему одиноким мужчиной, а не отцом и мужем. Томаса вдохновляла мысль свести все великие идеи, которыми жил и о которых писал его герой, к одному переживанию, одному разочарованию. Как если бы можно было противопоставить тому, о чем говорил на улице Генрих, темную сторону человеческой натуры. Но эта мысль пришла к нему в голову только после того, что он пережил вчера на пляже и за обедом.

Его персонаж – не важно, Малер, Генрих или он сам – приплыл в Венецию, где был сражен красотой и пробужден желанием. Поначалу Томас задумал сделать объектом желания своего героя юную девушку, но это привнесло бы обыденность в воображаемый мир, лишив его драматизма, особенно если сделать девушку старше. Нет, решил Томас, пусть это будет юноша. И желание героя будет сексуальным, но, разумеется, ему не суждено осуществиться. Взгляд немолодого мужчины будет тем яростнее, чем невозможнее какое иное взаимодействие. Случайная встреча тем радикальнее изменит его жизнь, чем она скоротечней и безнадежней. Его чувствам не суждено будет заслужить одобрение мира. Они разобьют ворота души, которые казались несокрушимыми.

В банке, куда Генрих зашел поменять деньги, кассир от-

советовал ему перемещаться южнее, — ходили слухи, что в Неаполе холера. Томас сразу же понял, что использует это в рассказе. В Венеции тоже будет холера, и поток постояльцев в гостинице на острове Лидо начнет медленно иссякать. Страсть немолодого мужчины окажется сродни болезни и разложению.

Утром польская семья не появилась за столом, как и предыдущим вечером. Улучив момент, Томас расспросил о них молодого консьержа. Тот отвечал, что поляки все еще пребывают в отеле.

В обед в столовой появились мать с дочерьми. Катя с Генрихом обсуждали что-то, прочитанное братом в газете, а Томас не сводил глаз с двери. Несколько раз она открывалась для того лишь, чтобы впустить официанта. Наконец он появился, мальчик в матроске, и невозмутимо прошествовал через зал. Затем остановился рядом со стулом, поймал взгляд Томаса, сдержанно улыбнулся и вступил в переговоры с официантом.

На пляже после обеда Томас снова занимался рассказом. Багаж Генриха потерялся, и он включит в рассказ эту подробность. Якобы из-за потерянного багажа герой задержится в отеле, хотя настоящей причиной было желание побыть с мальчиком под одной крышей. Томас вспомнил клубнику, которую предлагал им с Катей разносчик, — и этот эпизод станет частью рассказа.

Со временем чувства, которые герой испытывал перед со-

вершенной красотой, переполнятся и хлынут через край. Ашенбах видел мальчика постоянно, даже на площади Сан-Марко, когда пересекал лагуну. Заметив, что семейство стало приходить на завтрак раньше, чтобы больше времени проводить на пляже, он тоже приобрел привычку завтракать ни свет ни заря и спускаться на берег до их прихода.

Герой рассказа Ашенбах когда-то был женат, но рано овдовел; у него осталась дочь, с которой он не был близок. Ашенбах не обладал чувством юмора, чего люди подсознательно ждут от писателя. Иронию он сохранял для своих философских и исторических изысканий, никогда не обращая ее вовнутрь. И он был совершенно беззащитен перед ошеломляющей красотой, что каждое утро являлась перед ним в сине-белом купальном костюме под слепящим сиянием Адриатики. Его очаровывал силуэт мальчика на фоне горизонта, возбуждала его иностранная речь, из которой он не понимал ни слова. Он жадно ловил мгновения, когда мальчик, отделившись от семейства, в одиночестве застывал у кромки воды, сцепив руки на шее и грезя наяву.

Когда наконец холера пришла в Венецию и Катя с Генрихом начали готовиться к отъезду, план рассказа был готов. Томас знал, что, признайся он в этом Кате, она посмотрит на него с насмешкой и скажет, что он использовал рассказ как алиби, дабы скрыть свои истинные мысли.

Ожидая ее в вестибюле, Томас пытался вспомнить, когда впервые понял, что Катя все про него знает. Он почувство-

вал это с их первой встречи в доме ее родителей, когда они с братом с ним заговорили. Можно подумать, она использовала Клауса в качестве приманки или наживки. Катя видела, как мужчина, которому предстояло стать ее мужем, смотрел на ее брата.

Томас смотрел не только на брата, но и на сестру, но в этом как раз не было ничего странного. Под их насмешливыми взглядами он на несколько секунд утратил бдительность, и, возможно, тот случай не был единственным. Странно, что это так мало беспокоит Катю, подумал Томас.

За годы брака под заботливым Катиным присмотром они сумели договориться. Началось все обыденно, когда Катя обнаружила, что определенный сорт рислинга из домена Вайнбах вдохновляет Томаса, раскрепощая его и развязывая ему язык. После вина Томас выпьет коньяк, и не один бокал. Затем, пожелав ему доброй ночи, Катя поднимется к себе, уверенная, что вскоре Томас появится у ее двери.

В свод неписаных правил, который они приняли, входил пункт, что, пока Томас не создает угрозы ее тихой семейной жизни, Катя без возражений смирится с его природой, не возмущаясь, когда порой его взгляд задерживался на молодых незнакомцах, и соглашаясь принимать Томаса в любой из его личин.

Когда рассказ был дописан, он дал прочесть его Кате. Несколько дней он ждал ее реакции и, не дождавшись, спро-

сил, прочла ли она.

– Тебе удалось передать суть. Я словно сама там побывала, хотя все это происходит в твоей голове.

– Думаешь, рассказ вызовет толки?

– Ты самый респектабельный человек на свете. Но этот рассказ все изменит, и мир больше не сможет смотреть на Венецию так, как раньше. Думаю, мир и на тебя не сможет смотреть так, как раньше.

– Считаешь, я должен отказаться от публикации?

– А зачем тогда ты его написал?

Когда рассказ опубликовали в двух выпусках журнала, а затем отдельным изданием, Томас решил, что его враги воспользуются случаем. Он воображал статьи, намекающие, что автор слишком хорошо знаком с терзаниями главного героя. Едва ли это нормально, особенно если речь идет об отце четверых детей.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.